



До №3
и После

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ

●
Берлин '99

До

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

МЗ

и После

До

Берлин '99

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

№3

и После

*члены литературной студии,
благодарность тирефпункту
Natikva ZWST
Draniensburger Strasse 31
за участие и поддержку в издании
цикла «ДО и ПОСЛЕ»*

Верстка и макет
Иосифа Малкиеля

© (см. содержание), 1999
Все права защищены

«ПЕЧАЛЬНО, КОГДА РОДИНА ТВОЯ – ОДЕССА, А ДОМ ТВОЙ – БЕРЛИН»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

“Я не волшебник, я еще только учусь,” доверительно объяснял всем маленький Паж из очень старого довоенного фильма “Золушка”, особенно любимого послевоенными мальчиками и девочками, ибо в этом фильме все было чистой правдой. “Они еще только учатся!” – я говорю это Вам, уважаемый читатель, взявший в руки альманах “До и после” с намерением его прочитать. Его авторы, а их 14 – основной состав Литературной студии, действующей при Treffpunkt Natikva (Надежда) на Oranienburger Str. 31 в Берлине. Это третья по счету тетрадь, творческий самоотчет студийцев за прожитый год. Есть одно общее для всех них обстоятельство – почти никто из них в своей прежней жизни литературным творчеством не занимался, свои университеты закончили они давным-давно, есть среди них врачи ученые, инженеры математик и режиссер а вот профессионального литератора – ни одного. И уехали они в Германию в том возрасте, когда уже начинается “спуск с горы”, а не восхождение к ее вершине. Эмигрантская “ломка”, потеря привычных жизненных ориентиров и поиск новых, профессиональный вакуум – невидимое поле боя, где каждый сражается в одиночку. Именно это поколение интеллигентов из бывшего СССР приняло на себя самую тяжкую психологическую ношу, увозя из проклятой любимой страны детей и внуков, чтобы дать им новое качество жизни и европейское образование (ибо какой же советский интеллигент, да еще еврей, не мечтает о высшем образовании для своего дитяти!),

престарелых родителей, прирученных животных, семейные фотографии, мамину любимую шапочку, свои дипломы и ордена, еще какие-то раритеты канувшей в Лету жизни и... свою расколотую жизнь в придачу. И вот у иных из них однажды рука потянулась к перу... Не будем задаваться вопросом, почему. Очень уж интимная тема. Рассказы, новеллы и миниатюры, стихи и поэмы, переводы, сказки и мемуары, словом, творчество этих авторов перед Вами, читатель. Мы вправе задать вопрос – как к этому творчеству относиться? Для профессиональных писателей существует профессиональная критика, ей, как говорится, и карты в руки. Опытный литератор, даже самый бездарный, как-никак ориентируется в правилах литературной полемики и вырабатывает способы психологической защиты. Автор неискушенный, даже самый талантливый, ничего этого не знает. Доверчиво предъявляя свое творение братьям по разуму, он даже не представляет себе степени риска. Но и он не может остаться вне оценки. Эстетической, когда это касается языка, формы, стиля. Этической, если это имеет отношение к его нравственному чувству. В связи с этим обстоятельством, мне представляется весьма актуальным первый обзор литературного творчества в эмиграции, появившийся в одном из наших эмигрантских журналов. Позвольте привести ряд цитат.

“...Итак, на примере художественного творчества мы рассмотрели в общих чертах духовные конфликты эмиграции в Германии, большинство из которых объясняется ценностным, когнитивным и регулятивным дефицитом.”

“...Избранный для изучения материал оказался на наш взгляд вполне адекватным поставленной задаче, поскольку референтная, экспрессивная и импрессионная функции текстов со всей очевидностью преобладают над эстетической.”

“...Создавая понятный шум высокой концентрации и заражая читателя хроническим вербальным иллюзионизмом, “Родная речь” с одной стороны легитимирует дезинтеграцию, а с другой, неслучайно является ее вторичным продуктом.”

“...социально гиперактивные Дон Кихоты из сборника “До и после” ...Для них характерны высокая степень личностной дезинтеграции и попытка ее активного преодоления.”

Про что это он?! – изумленно спрашиваете Вы. Да... Понимаю. Попробую перевести это наречие на понятный нам с вами язык. По-моему, он хочет сказать, что “Родину нельзя унести на подошвах башмаков”. Великолепная метафора, не правда ли?

Автор этого известнейшего изречения был политиком, но в душе, конечно же поэтом...

Автор же научного труда, посвященного обзору русской изящной словесности в Германии, доведись им встретиться в пространстве и времени, немедленно отнес бы его к подвиду тех, у кого, цитирую: – *“Любовь к бывшей Родине заходит иногда уж совсем далеко, принимая даже формы патриотической экзальтации”*. Автор означенного труда задался целью исследовать *“идейное содержание эмигрантской литературы в Германии”* опасаясь, что *“зарождающаяся здесь идеология будет во многом отличаться от американской”*, с одной стороны, а с другой обещает *“оформиться в некую идеологию, подобную той, что уже возникла среди русских в Америке”*. Автор строго предупреждает, что *“Социально-психологическое портретирование исключает оценку достоинств литературной продукции. Нам важнее выявить семантические тенденции “коллективного автора”, отделив их от плевел условностей формы и жанра, обнажив референтную, импрессивную и, в особенности экспрессивную функцию текстов. Это необходимо для того, чтобы ответить на научные вопросы...”* *“Литературный процесс в среде русской эмиграции достиг за последние годы опасного накала”*. *“Эмигрантская пресса озлобленно и настороженно молчит друг о друге”* и т.д. Словом, обложившись русскими литературными журналами – (их 7) – взяв старт от альманаха “До и после” №2, вооружившись скальпелем, автор статьи Игорь Полянский, нарезав строчек и цитат, а также разнообразных имен, разместил все это на страницах издаваемого им журнала “Зеркало загадок” № 8, подчинив “материал” строгой классификации, разбив несчастных авторов на виды и подвиды. Одни попали в антисемиты, другие страдают *“неприятием Германии и немцев”*, третьи – *“русским, казахским, украинским и прочим ландшафтным патриотизмом”*; кто-то исповедует православие *“перезрелое, запоздалое, опасное в случае ранних заморозков”*; в одних журналах *“еврейская*

квота, прямо скажем низкая”, в других...

Все это называется “Эмиграция перед зеркалом”. Автору жутко весь этот разброд не нравится, и на выражение своего эмоционального состояния он не жалеет иронии и яда. Невольно представилось: а как было бы славно ампутировать память, вычистить все мерзкие комплексы, взращенные второсортной страной прежнего проживания, выбросить все это вместе с ландшафтной ностальгией на помойку. Выучить всем немецкий язык, полюбить немецкого чиновника, исправно посещать синагогу и в государственные праздники выходить с плакатом “Да здравствует капитализм – светлое будущее человечества, самый справедливый строй в мире!” Вот это была бы эмиграция, образцовая, идеологически стерильная. Куда там американской! Уж мы бы им показали!

...Если бы упомянутый автор и издатель взял бы еще на себя труд, хотя бы мимоходом, взглянуть в “зеркало” собственного журнала, “отделяя его от плевел условностей формы и жанра”, он, может быть, почувствовал, что его собственный опус написан в славных традициях советских разгромных статей разных лет с последующими директивными выводами, только с противоположным, разумеется, идеологическим знаком; он обнаружил бы, может быть, еще не один феномен литературного эмигрантского процесса. Например, как довлеет провинциализм над профессионализмом; что само название “Зеркало загадок” – слова, вырванные из контекста великого автора, приобрели в данном случае кокетливо-жеманный характер, подобающий скорее какому-нибудь обскурантистскому изданию о гадании в зеркалах или на кофейной гуще... Да и не станет профессиональный, с чувством собственного достоинства журнал, укрывать свою обложку комплиментами самому себе...

Или как гниет на пародию (особенно в соседстве с текстами и высказываниями профессионалов литераторов) невинное покушение Миши Полонской на “высокое” литературоведение, с его поисками “образа положительного еврея” и противопоставление его “русскому народу в целом, во всех его ипостасях: дворянству, чиновничеству, крестьянству” (!) в творчестве Пушкина и иных российских авторов помельче; и как контрастирует ясная по мысли и языку

статья Ю. Гинзбурга на тему эмиграции с его, Игоря Полянского, “Эмиграцией перед зеркалом”. Да, разгромный стиль статей в духе советского времени нынче не в моде. Из партии никого не исключат, от веры не отлучат, никуда не сошлют. И, что самое интересное, – печататься не запретят.

Но чего же Вы хотите, уважаемый читатель? “Зеркало Загадок” тоже переживает естественный процесс трудного роста хилого эмигрантского дитя на чужой тучной ниве. И я отвлекся, как Вы понимаете, уважаемый мой собеседник, вовсе не для того, чтобы скрестить критические копыя. Просто именно здесь, на страницах опуса, что цитировался, возник по-настоящему опасный вирус, микроб, как хотите назовите, опасный симптом болезни, грозящий всей нашей эмигрантской вольнице, особенно тем, кто придет за нами, или уже стоит за нами. Это вирус разъедающий живую, пульсирующую еще плоть языка, отколовшегося от родного континента и ставшего таким же эмигрантом, как и его носители...

Читая текст Полянского, думаю, что же это за феномен такой, язык, на котором он изъясняется? Не европейский, напечатан кириллицей, ближе всего к русскому, но ведь и русским его не назовешь? Язык-монстр, язык-мутант. Как и почему случается эта мутация? И сколь стремителен этот процесс? Автор – человек молодой. Русский язык – это единственное наследство, которое российский интеллигент оставляет в эмиграции потомству. Возможно ли промотать его еще при жизни нашего поколения...? Глобальность тьмы определенно взывает к Авторитету. Ведь украсил И. Полянский свое исследование цитатой из Овидия, что, мол, в ссылке, в дикой стране, хоть такие строчки скорбной рукою вывел.

...Авторитеты важно смотрят на меня потрепанными, хорошо сохранившимися и относительно новыми переплетами с книжных полок. Я вывозил их из страны в страну всех до одного. В их привычном окружении мне хорошо. Я как-то успокаиваюсь, становлюсь молчаливее и человечнее.

...Итак, можно было бы конечно, сказать, что Набоков, как священный огонь, пронес наш великий и могучий, сквозь кордоны... Однако, рука медлит. И, как обычно это бывает, “кто-то” велит взять

металлическую лесенку и лезть под самый потолок, в темный угол, куда обычно задвигается “ненасущное”. Рука вытягивает увесистый темно-зеленый том; сдуваю пыль, открываю качественный переплет. Красивый старик глянул на меня мудрым и веселым глазом; голова повязана фуляром из восточной ткани, серебряная борода. Анатолий Франс, 1844 – 1924. Гос. Изд. Худ. л-ры, Москва. Ред. С. Брахман, худ. Л. Зусман. Фамилии фотографа нет. Бог мой, сколько же лет не открывал я тебя? Да и открывал ли вообще? Литературно-критические статьи, публицистика, речи, письма. Какие хрупкие страницы, и будто слегка обгорели по краям. Читаю первое, что поймал глаз: *“Завтра я уезжаю, чемоданы уже уложены, и в осиротевшем доме под рукой у меня осталась одна-единственная, тоненькая книжечка. Она осталась на камине случайно. Случай – мой мажордом. Ему я поручаю заботу о моем имуществе и моем достоянии. Он нередко обманывает меня, но он, мошенник, не глуп: он меня потешает, и за это я прощаю его...”*. *“Когда мы в четверг, в четыре часа пополудни, выходили из Академии, яркое весеннее солнце освещало набережные в благородной рамке каменных парапетов. Проплывавшие по небу облака придавали солнечному свету сходство с пленительно-непостоянной улыбкой. Солнце весело улыбалось, играя на ярких шляпках женщин, на их радостных лицах, золотя им волосы на затылке...”* Какая прелесть! Дальше: *“...Дневник, записки, – словом, все, что является воспоминанием, не зависит от моды, от всех условностей, которым подчиняются обычно произведения, основанные на вымысле... Мы ищем здесь только правды о человеке... В каждом из нас живет потребность к истине. Мы с нею рождаемся... Вот, думается мне, две основные причины, по которым мы любим читать записки не только великих людей, но и людей заурядных, если они любили, верили, надеялись и если на кончике их пера есть хотя бы частичка их души...”* Еще: *“Я не думаю, что только люди исключительные имеют право рассказывать о себе. Напротив, я полагаю, что очень интересно, когда это делают простые смертные. Но в признаниях людей одаренных есть совсем особая прелесть...”* И еще: *“Язык принадлежит всем. Самый искусный художник обязан сохранить в нем его национальные и народные черты. Если из языка своих согра-*

ждан он захочет выкроить для себя какое-то особое наречие, если он вообразит, что может изменять значения слов, как ему это заблагорассудится, его постигнет кара за гордость и безбожие; подобно тем, кто строил Вавилонскую башню, этот негодный строитель родного языка никем не будет понят, и из уст его будет исходить одно лишь невразумительное бормотание.”

...Русский журнал, альманах, книга прозы или поэтический сборник, здесь, если удастся им осуществиться, единственное пространство для поддержания жизни языка-эмигранта. И никому в этом пространстве не тесно – ни профессиональным писателям, ни тем, кто только начал писать. Литературная жизнь еще только начинается, она не оформилась в процесс. И журналы “*молчат друг о друге*” лишь потому, что озабочены одним – выжить. Придут ли иные имена? Услышит ли о них мир? Этого нам не дано знать. А пока – возьмите альманах “До и после” с открытым сердцем и читайте его непредвзятым взором, порадитесь удачному рассказу, живому образу, меткой поэтической строфе. Примите это как знакомство, как послание человека человеку.

Иосиф Малкиель

Карл Абрагам

ЭВАКУАЦИЯ

Глава из воспоминаний “Два часа и вся жизнь”

22 июня 1941 года бомбили киевский завод “Большевик”. Мы с мамой проснулись от какого-то неясного гула и подумали, что это очередная учебная тревога, затеянная “Осовиахимом”. Повернулись на другой бок, чтобы ещё немного поспать. Ведь было воскресенье. В то солнечное утро мама отправилась на базар, но вскоре вернулась с лицом серьёзным и озабоченным: началась война. Об этом она узнала по месту работы, в поликлинике, расположенной рядом с рынком. Вскоре на улицах появились противотанковые заграждения – “ежи”, сваренные из рельсов. Налёты немецких бомбардировщиков были не очень часты, но при каждой воздушной тревоге надо было спускаться в бомбоубежище или прятаться в подвалах домов. При ночных воздушных тревогах свет зажигать не разрешалось, надо было быстро одеться вслепую, на ощупь. Это не сложно, если с вечера сложить свои вещи в порядке, обратном тому в каком ты их снял. Привычка таким образом укладывать свои вещи осталась у меня по сей день.

Для нас, детей, война всё ещё была игрой. Мы ходили по улицам и собирали осколки снарядов. Каждый имел свою коллекцию осколков и хвастался ими перед другими пацанами.

В конце июня в городе появились первые беженцы, в основном местечковые евреи из западных областей Украины. Они заходили в дом и просили пить. Были они все на одно лицо – все близорукие, все с пейсами и все в чёрном. Что их объединяло? Может быть, это были раввины? Они расположились на отдых напротив нашего дома в Ботаническом саду. Через пару дней их уже не было.

По городу ходили слухи, что немцы “хорошие”, что они никого не тронут и, если они придут, то их быстро выгонят, что уезжать совсем не обязательно. Но эти разговоры могли усыпить кого угодно, только не мою маму. Она своими глазами видела в Берлине факельные шествия штурмовиков, выкрикивавших фашистские лозунги, она уже однажды бежала от Гитлера, и поэтому твёрдо решила: ехать! Но с работы сотрудников “до особого распоряжения” не отпускали, хотя немцы стояли уже под Киевом. Мы покинули город лишь восьмого августа с одним из последних эшелонов. Сборы на дорогу были недолгими – два узла с вещами, а мое новое коверкотовое зимнее пальто, перешитое из папиного плаща, было уложено в рюкзак. Перед отъездом мама навела в доме порядок. Скрипку, на которой я три месяца учился играть, мы закрыли в шифоньер. Жилье заперли, ключи забрали с собой.

Как и в каждой семье, у нас был семейный фотоальбом. Мама почему-то решила спалить его. Я не понимал, для чего это, и уже полюбившиеся фото извлекал из печки. Некоторые из них “живы” до сих пор. До вокзала мы добрались на подводе. Посадка в товарные вагоны происходила на грузовой станции Соломенка. Дело было под вечер. Смеркалось. Стояла страшная неразбериха, люди кричали, ссорились, дети плакали, многие в этой сутолоке теряли друг друга, и каждый нес еще и узлы с вещами. Каким-то образом все заняли “свои места”, люди утихомирились, дверь снаружи закрыли, и состав тронулся. Как люди справляли большую и малую нужду, что пили-ели, я не помню. Вскоре мы прибыли на станцию Лебедин, что в Сумской области. Там нас высадили и распределили по колхозам для уборки урожая. Мы попали в село Великий Выстороп. Мать работала на току, а мне поручили пасти гусей. Пробыли мы в этом селе ровно три недели. Наши войска продолжали отступать, линия фронта приближалась, и тогда нам сказали: “Езжайте дальше. Доведем вас до станции, а там, может

быть, сядете на какой-нибудь товарняк”. Приехали мы на станцию, составов много, а куда они следуют – неизвестно. Увидели эшелон какого-то завода. С разрешения начальника поезда сели на одну из закрытых платформ, на которой размещался огромный котел, и были счастливы. Поехали с этим эшелоном на восток. И ехали три недели. Из этой поездки мне запомнилась первая бомбежка Харькова и переезд через Волгу.

Харьков бомбили первый раз 3 сентября 1941 года. И не столько город, сколько товарную станцию Основа. Когда рвались бомбы, мы спрыгивали с платформы и прятались под нее. Но тут надо было суметь не попасть под колеса, так как с началом бомбежки эшелоны, стоявшие на станции, стали растаскивать маневровыми паровозами. Когда поезд начинал движение, мы снова взбирались на платформу. Так продолжалось полчаса, пока бомбежка не прекратилась.

Переезд по железнодорожному мосту через Волгу вызвал у меня чувство глубокого волнения. До этого я знал о знаменитой реке только из песен и из школьных учебников. С восходом солнца мы приблизились к самой большой реке Европы. И когда наш поезд въехал на мост, я поднялся со своего места, выпрямился во весь рост и, вытянув правую руку в сторону реки, начал с чувством декламировать: “О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я...” Мост в том месте Волги длинный, и мне по времени как раз хватало стиха, чтобы пересечь реку. Мой слабый голос заглушался стуком колес и порывами ветра. Я силился перекричать шум. И вот мост кончился, и я умолк. Стало тихо. Мама почему-то плакала, а мы поехали дальше. И когда это “дальше” кончится – никто не знает.

23 сентября 1941 года, когда по радио сообщили о сдаче Киева, мы прибыли в Челябинск. В центральном эвакуприемнике мама получила направление для работы медсестрой в Тургоякский детский дом в большом зажиточном селе под Миассом. Село расположено на берегу огромного озера Тургояк, окруженного лесистыми горами. Вода в нем необыкновенно чистая и холодная. Я никогда не видел, чтобы в озере купались или ловили рыбу с берега. Село насчитывало более пяти тысяч жителей. Большинство из них были не то родственниками, не то однофамильцами, чаще всего – Мурдасовы, Лепешковы, Чижовы и Щегловы. В классе

учились пять Мурдасовых, пять Николаев и пять Ивановичей. Учителя, чтобы как-то отличать их друг от друга, вызывали их по померам. Скажем: “Николай второй, – к доске!”.

Точно не помню, но по словам матери местные мужики занимались добычей золота. У них была бронь, и в армию их не брали. Дети их питались пышным белым хлебом из “крупчатки” и ходили в хромовых сапогах, ну а зимой, естественно, – в валенках. Я, единственный в классе, ходил в лаптях. Лапти – вещь хорошая. Накрутишь портянок поболее и топаешь. И легко, и тепло. За зиму и снашивал две пары лаптей. По тем временам – недорого. Пара лаптей стоила 50 рублей – вдвое дешевле буханки черного хлеба на базаре.

Детский дом располагался далеко от села. В школу я ходил каждый день три километра туда, три – обратно. Зимы на Урале холодные, но безветренные. Температура воздуха доходила иногда до минус пятидесяти, но никто в связи с морозами занятий в школе не отменял. Выходишь из дому раненько, затемно, снежок под ногами поскрипывает. Тишина! Рядом лес, птицы попрятались, притаились. Лишь телеграфные столбы гудят. Чем сильнее мороз, тем громче гул натянутых проводов. Пройдешь с полдороги, и вот уже розовеет рассвет. Взбегаешь на пригорок, и перед тобой в низине – огромное село. Из каждой печной трубы струится дым, столбом уходящий вверх. Безветрие! Дома все рубленые, почти одинаковые, под тесовыми крышами. А вот и школа, в которой я проучился без малого три года. Слово “проучился” можно смело брать в кавычки. На самом деле я не учился, а лишь носил книги в школу и сидел на уроках. Пробел в знаниях за эти годы я потом ощущал всю жизнь, особенно, по физике. Друзей у меня в школе не было.

Детский дом стоял на высоком обрывистом берегу озера. Судьбу никто не искушал, и к краю обрыва близко не подходили. Дети жили и учились в большом деревянном двухэтажном здании. Недалеко стояли: баня, топившаяся по черному, прачечная, амбары, погреба, скотный двор, где держали пару хилых лошадей, коров, несколько свиней и кур.

Несмотря на то, что у детского дома было свое небольшое подсобное хозяйство, детям оттуда мало что перепало: все разворовывалось. Дети голодали. Воспитатели никогда не ели

вместе с детьми, что называется, из одного котла. После еды все ребята покидали столовую, а воспитательница садилась за стол. Дети далеко не уходили, а стояли у окна и вслух хором считали каждую проглоченную “воспеткой” ложку супа до конца, пока тарелка не оказывалась пустой. Это повторялось изо дня в день. Запомнился мальчик Коля С., у которого постоянно текло из носа. Вытирал он нос рукавами своего пальто, отчего обшлага лоснились. Каждый раз после обеда Коля заползал под стол и собирал там хлебные крошки, которые тут же отправлял в рот. На него никто не обращал внимания, словно под столом сидел не человек, а муха.

Дети были озлобленными и жестокими. Все делалось для того, чтобы досадить взрослым. Это была своего рода месть за “хорошее обращение”. Воспитанников обычно наказывали за малейшую провинность. Их сажали в амбар, в погреб, оставляли там на целый день без еды, отчего они ожесточались еще больше. Среди детских “забав” распространены были издевательства над животными. Например, двери в доме закрывались при помощи веревки, перекинутой вверху у косяка через блок. Противовесом служил груз, прикреплявшийся к концу веревки. Чаще всего это был кирпич. Так вот, нередко вместо кирпича дети вешали живую кошку. Бедная животинка истошно кричала и дергалась до тех пор пока не околевала. Всякий, кто открывал дверь, это видел. Стоило снять кошку, как через некоторое время появлялась новая жертва. Никогда нельзя было установить виновника казни – фамилия испуганно тщательно скрывалась.

Нас с мамой поселили в небольшом домике, где был медпункт и две комнаты. В одной жили мы, в другой – преподавательница ботаники и зоологии Елена Михайловна Пинсквер с сыном.

Мама вставала рано, около пяти утра, чтобы поспеть к закладке продуктов. При ней все тщательно взвешивалось и только после этого заваривался в котел. И так три раза в день. Поварам это не нравилось. Да и не только им. Все, кто так или иначе “пасса” возле кухни, в том числе и дирекция, относились к матери с недоумением: “Тебе что, больше всех нужно?”, а кто и открыто враждебно – ведь за счет детей, по существу, кормился весь персонал детского дома. Понятно, что позже, при первой же возможности, от матери избавились, уволив ее “по собственному желанию”.

Весной сорок второго нам выделили десять соток под огород.

Это была твёрдая, никогда некопаная земля. Копали мы этот участок несколько дней. Быстрее не получалось. Ни сил, ни навыков, ладони в водяных мозолях. За каждым разом лопата отваливала совсем тонкий пласт земли. Сажали картошку “глазками”. Получилось, как в той пословице: “Что посеешь, то и пожнёшь”. Росточки были слабенькими, уродилась картошка маленькая – до весны не хватило.

По весне люди обычно собирали на полях полусгнившую картошку, оставшуюся в земле с прошлого года. Разложившийся клубень издавал тошнотворный запах и разваливался под руками. Наберёшь, бывало, такой картошки с полмешка, а с него течёт, и несёшь домой. Дома всё это вываливалось в большой таз и несколько раз промывалось. Наконец, вода полностью сливалась, и на дне оставалось небольшое количество землистого цвета крахмала, из которого пекли лепёшки. Так как отделить крахмал от земли полностью не удавалось, то лепёшки скрипели на зубах, были невкусными и напоминали резину. Однажды, весной сорок третьего, выбрались мы с матерью на бывшее картофельное поле, на котором уже взошла не то рожь, не то пшеница. Ушли мы от села далеко, и это сулило нам “богатый урожай”. Действительно, очень быстро мы наполнили полусгнившей картошкой свои сумки. Внезапно появился человек верхом на лошади. В руках у всадника была плётка. Выражение лица его ничего хорошего не предвещало. Он спросил, почему мы топчем всходы пшеницы. Мы, страшно испуганные, что-то пролепетали, что, дескать, не знали, собираем картошку и ходим по полю очень аккуратно, стараясь не повредить всходы. “Следуйте за мной!” – скомандовал всадник. “Куда?” – спросила мама. “В милицию”, – и умчался прочь в сторону Миасса. Дисциплинированная мать с сыном пошли не спеша по широкой дороге, чтобы отдать себя в руки органов правосудия. Всадник исчез и более не появлялся. До милиции оставалось километров пять. Вокруг – ни души. И тогда, наверное впервые в жизни, я принял самостоятельное решение и отговорил маму идти в милицию. Мы повернули к дому. Весь вечер и ещё несколько дней после этого мать всё ждала, что за ней придут. По тем временам за такие “штучки” давали десять лет лагерей.

Зимой сорок третьего мама тяжело заболела – воспаление лёгких и брюшной тиф одновременно. Из-за очень высокой температуры

мама часто впадала в беспамятство. Несколько раз в сутки у неё был жидкий стул с кровью. Ходила она на бадью, которую за каждым разом надо было выливать в выдолбленную мною в мёрзлой земле ямку. Сверху всё это присыпалось хлоркой, а затем землёй. Такие меры предосторожности были связаны с тем, что по двору детского дома бродили свиньи, которые не брезговали ничем.

Скоро маму забрали в миасскую инфекционную больницу. Заботилась обо мне Елена Михайловна. Но и она скоро уехала к мужу, который работал каким-то начальником на военном заводе в Первоуральске. Мне было жалко расставаться с соседями. Наверное, жаль было себя. Пугало надвигающееся одиночество. Дали им повозку до города. “Спасибо, Елена Михайловна!” – кричал я им вслед, кричал до тех пор, пока повозка не скрылась из виду, а в конце разрыдался.

Провела мама в больнице два месяца. Звонил я туда почти ежедневно. Ничего утешительного врачи не говорили. Они считали, что все это плохо кончится. Но организм оказался сильнее, и смерть отступила. Маму выписали.

Тут я хочу рассказать о смысле поговорки “ест, как после тифа”. Будила меня мама в четыре утра и просила есть. Еще с вечера я складывал в чреве печи поленицу, чтобы к утру дрова просохли. При помощи лучины, бересты, а то и резины от старых покрышек я разводил огонь. Росточка я был маленького и когда влезал в нутро печи, то с шестка торчали только ноги. После некоторых усилий поленица занималась огнем, и я ставил к ней ухватом полуведерный чугунок с картошкой. Через полчаса, по готовности, чугунок опустошался, и я имел возможность еще немного поспать. Передышка продолжалась недолго, и в девять утра у мамы был уже “второй завтрак”. На сей раз развести огонь было труднее. С дров капала вода, просохнуть они не успевали. И снова полуведерный чугунок с картошкой (другой еды не было), который за десять минут исчезал в маминном желудке. И так целыми днями в течение нескольких недель, пока мама не насытилась немного.

Последний год нашего пребывания на Урале был, пожалуй, самым трудным из тех трех лет. Маму в конце концов уволили из детского дома. Доктор Н.И. Иванова, спасибо ей, забрала маму к себе в Тургоякскую амбулаторию. Но денег на жизнь не хватало. Теперь надо было все доставать самой.

А зарплата медицинской сестры была мизерной. По карточкам ничего нельзя было купить. Соль – и то по праздникам. Мама прирабатывала, как могла: вела немецкий в школе, давала уроки музыки.

Тем не менее, мы едва сводили концы с концами. Я был истощенным, маленьким, хотя шел мне уже четырнадцатый год. Летом мама устроила меня в пионерский лагерь в Инышку, километрах в семи от Тургояка. Думала, что я там немного поправлюсь. Но и в лагере дети жили впроголодь. Причина все та же: львиная доля продуктов уходила на сторону. Целыми днями мы были предоставлены сами себе и думали только о том, как бы поест. По воскресеньям был родительский день. И если кому-то из ребят что-то привозили из продуктов, то это съедалось вечером коллективно, всей палатой. Был среди нас угрюмый замкнутый мальчик Миша. К нему приезжали чаще, чем к другим (отец его был каким-то начальником), и всегда что-то привозили. Он еду прятал в чемодан, который запирали на замок. Ел он из этого чемодана украдкой и никогда ни с кем не делился. Однажды, в отсутствие Миши, ребята сбили замок с чемодана и увидели, что там полно белых булок. Их тут же растащили и съели. Миша, обнаружив это, пошел к начальнику лагеря. В тот вечер всю группу оставили без ужина. Ребята наказание посчитали несправедливым. На следующий день Мишу вывели в лес, сняли с него рубашку, привязали к дереву и устроили самосуд. Били свежими березовыми прутьями, каждый должен был ударить по голой спине мальчишки три раза. Скоро спина “провинившегося” покрылась кровоподтеками. Я тоже участвовал в этой экзекуции, хотя, когда дошла до меня очередь, старался ударить “не больно”. Назад Миша уже идти не мог. Его принесли в лагерь на руках. Второй раз жаловаться мальчик уже не пошел.

С проявлениями антисемитизма я столкнулся впервые именно во время эвакуации, где мне часто напоминали, что я еврей. В школе дразнили по-разному: “Жид, жид, жид – по веревочке бежит” или “Жид пархатый, говном напхатый”. Пионерлагерь в этом отношении от школы ничем не отличался. В палате, где жила наша группа, висел плакат, на котором большими буквами через всю стену было начертано: “Если враг не сдается – его уничтожат!” и подпись: М. Горький. Я и не предполагал, что этот призыв может

обернуться против меня. Однажды, не помню уже “за что”, меня силой поставили на колени и велели это изречение читать иначе: “Если жид не сдастся – его уничтожают”.

Я стоял на коленях, беззвучно плакал, но так и не проронил ни слова. Через некоторое время от меня отступились.

Детский дом обеспечивал нас не только питанием, но также кровом и теплом. Теперь эти проблемы приходилось решать самим. Мы сняли комнату в селе, купили козу (мама что-то продала из вещей), и теперь надо было позаботиться о топливе. Хозяйка нам в дровах отказала, а купить их было не на что. И тогда кто-то подсказал нам, что можно топить шишками, которых в лесу было навалом.

Каждое утро я отправлялся в лес с тележкой, граблями и мешками. За день я должен был собрать и привезти шесть мешков шишек. Такую мне установили норму. Работа эта несложная. Выбираешь место, где шишек побольше, сгребашь их в кучу и наполняешь мешок. Но был я ребенком от природы ленивым, а поэтому бывало так, что вместо шести мешков я привозил только пять. За это мать лишала меня ужина. Голодный и обозленный я ложился спать. Завтрак я получал только после того, как привозил из леса “вчерашний” шестой мешок. Завтракал и снова отправлялся в лес, чтобы собрать и привезти дневную норму шишек. Не скажу, чтобы этот “педагогический прием” сделал меня более трудолюбивым.

Заготовленных шишек на зиму не хватало, поэтому, где-то с середины декабря, я каждое утро отправлялся с топориком за поясом и с длинными салазками собирать в ближнем березнячке валежник. Ежедневно: утром – в лес, после обеда – в школу. Так продолжалось до тех пор, пока мы в марте сорок четвертого не уехали к отцу.

Не все было так плохо на Урале, как это может показаться. Конечно, было много тяжелого. Неприспособленные, мы боролись за то, чтобы выжить. Порой лишь красота окружающей природы примиряла нас с суровым бытом. Мы выжили.

Леонид Бердичевский

НАСТЫРНЫЙ

Памяти художника В. Дозорца посвящаю

На одной из центральных улиц города стоит небольшой, но уютный особнячок. Принадлежал он раньше Аристарху Петровичу Криношенину, адвокату с частной практикой, человеку небогатому, но всеми уважаемому. Так и стоял бы особнячок, да рядом возвели огромное неуклюжее здание, облицованное синей глазурованной плиткой. И потерял особнячок свою индивидуальность, своё лицо. Стал он сбоку припека, как бедный родственник, и лишь к праздникам несколько оживлялся, красили его фасад, оконные и дверные фрамуги. Правда, всякий раз в другой цвет, какой находили на ЖЭКовском складе. Однако, не в этом суть, а в том, что поместили в нём одно из лучших в республике издательств. На входную дверь нацепили вывеску, длинную и скучную, как строка гекзаметра. Собственно, здесь дали приют только лишь одной из редакций издательства. В лучшей комнате, вероятно со старых времён остался большой двух тумбовый письменный стол. За ним комфортно и важно разместился сам старший художественный редактор, солидный и опытный, глубокоуважаемый Адам Омельникович Чмыхало, или, для удобства, как окрестили его сотрудники, Адам.

Это крупный мужчина 40 лет с большими, поникшими книзу, добротными, ухоженными усами. Говорит он на том русско-

украинском диалекте, который народ с нежностью называет “суржик”. Напротив него сидит посетитель – седоватый, высокий с вьющейся бородкой и добрыми с грустинкой глазами человек, Слава Вознюк, книжный оформитель. Заочно они знакомы давно, но лично встретились только месяц назад, когда Слава получил у Адома большой и интересный заказ. Беда была в том, что Слава еврей, но его фамилия вводила в заблуждение многих опытных и искушенных. То же произошло и с Адомом, но договор уже был подписан и ничего не оставалось, как смириться и продолжить сотрудничество. Адом поднял на Славу утомлённые тяжёлые глаза и лениво произнёс:

– Ну шо, прийнёс?

– Да, – ответил Слава, – здесь все.

Он извлёк из портфеля папку и книгу и протянул их Атому. Тот внимательно стал рассматривать отдельные листы и макет книжного блока, бормоча, – Усё, як договорились, хоккей.

Затем начался просмотр заставок, фронтисписов, форзацев, полосных иллюстраций, переплёта и других атрибутов книжного оформления.

– Значит, так, – вынес свой вердикт Адом, – усё пойдёт, но хворзацы снимем, бо много грошей за всё это, богатеем станешь.

Он встал, пожал Славе руку и произнёс сакраментальную фразу: – Молодец Вознюк, довёл-таки до кондиции, ну и настырный ты.

Слава внимательно посмотрел на Адома и несмело предложил: – Хотелось бы переплётник конгревом тиснуть, в суперобложку книгу одеть, чтоб дольше жила, чтоб фасад её торжественней выглядел. Я б это бесплатно сделал.

– На шо воно нам, хвасад. Дольше жила... Совсем задрали... Умники, вечно лезете, потом говорите, не люблять вас. Самоубийцы вы, пот хто, – позмугился Адом, тяжело дыша.

... А заочное знакомство их состоялось давно, более двадцати лет назад, когда они, ровесники, незнакомые друг другу, поступали в один и тот же художественный институт. Разница была лишь в том, что Адом был зачислен, а Слава не прошёл по конкурсу. Но Слава был настойчивым и трижды ещё предпринимал попытки поступить, однако все они оказывались тщетными. Его уже знали преподаватели и за глаза именовали “настырным” Вознюком.

Итем Славу забрали в армию. Служил он в своём городе, ибо при военном округе нужен был бесплатный художник. Прикомандировали его к красному уголку клуба, в распоряжение лейтенанта Фёдко. Тот был человеком лояльным, весёлым, любил искусство. Слава целыми днями писал лозунги, рисовал плакаты по наглядной агитации, оформлял дембельские альбомы. Однажды Фёдко спросил его:

- А, припустим, Микиту Сергеевича срисовать можешь?

- Попробую, - ответил Слава.

- Добре, - решил Фёдко, - закрою я тебя, Вознюк, на трое суток, сортир и еда дозволяются, дерзай. Через три дня пришёл и ахнул, портрет был готов. И тут же привёл завклубом.

- Товарищ капитан, разрешите доложить, дивиться, наш дорогой Микита Сергеевич, ну, як живой, - отрапортовал он.

- Дурья твоя голова, он и так живой, - улыбнулся капитан.

- Виноват, - задрожал Фёдко. После этого диалога отношение к Славе изменилось к лучшему. Он стал регулярно писать портреты пожей, а иногда и местного начальства. Наконец, срок службы окончился, Слава вернулся домой и первым делом в институт. Декан факультета бегом к ректору: - Вознюк опять возник, - скаламбурил он, - что делать будем? - Тот, настырный, - улыбнулся ректор, - пусть пытается. И стал Слава пытаться.

...А Адом, к тому времени уже оканчивал институт. Но дипломная работа никак не давалась.

И декан обратился к группе:

- Хлопцы, помогите своему товарищу и коллеге, Адаму Чмыхало. Хороший он парень и коммунист достойный, не посрамите чести факультета.

И хлопцы помогли и не посрамили. Получил Адом диплом. Итем, как парень хороший и коммунист достойный, получил направление на работу в издательство художественным редактором.

...А Слава на следующий год после армии был неожиданно зачислен в институт.

- Ладно, - сказал ректор, - Вознюк - человек настырный, будет из него толк, да и фамилия у него человеческая, наша, пускай учится.

Учился Слава хорошо, охотно, рисовать любил, вкусом и способностями бог не обидел.

...Ну, буди Вознюк, не сердчай, – примирительно произнёс Адом, – повезло тебе, в пятницу гонорары платить намечаем. Субботу добре справишь. Сходи на Сенной, рыбку купи, хай твоя захварширует и меня угостишь, люблю я ваш хвищ, а если под нашу горилку с перцем, пальчики оближешь.

– Хорошо, – согласился Слава, – жду в воскресенье в 12. Здесь мой адрес и телефон, – добавил он, протягивая визитную карточку.

В воскресенье, ровно в 12, появился Адом. Он торжественно вынул из кофра бутылку перцовки и маленькую баночку, поставил их на стол.

– Что здесь? – кивнув на баночку, полюбопытствовал Слава.

– Мёд, – ответил Адом, – я два раза в месяц на своём “жигулёнке” к старикам катаюсь, батько мой пасечник, тут недалеко, в Степановке, может слышал?

– Нет, не слышал, – ответил Слава.

– Мои старики все життя смолоду пчёлами занимаются, людей мёдом кормлять, в войну это их спасло. Вот и я на натуральном продукте вырос, – самодовольно произнёс Адом, – а твои где?

– Нет их, – грустно сказал Слава, – отца в 40-м забрали и больше мы его не видели, а мать по дороге в эвакуацию умерла, сердце отказало...Я в Кзыл-Орде в войну в детском доме был, в 46-м тётка меня оттуда забрала. Там я и рисовать начал.

– Батько твой ворог, чи шо? – посуловел Адом.

– Не враг. Учёный он, генетикой занимался. В 55-м реабилитирован посмертно, объяснил Слава.

Поинтересился Адом раскупорил бутылку. Выпили. Съели по куску рыбы. Неожиданно Адом спросил:

– А где твоя жинка, детки?

– Все к сестре пошли, чтоб нам не мешать, – ответил Слава.

– Хорошо воспитал её, – похвалил Адом.

Он даже начал слегка всхрапывать. Потом, как бы спохватившись, пробормотал:

– Скажи мне, Вознюк, где ты такую хвамилию купил, а?..

– В наследство получил. От предков. Жили они в деревне Вознюки, там всех жителей, независимо от национальности,

Вознюками называли, – чувствуя, что теряет самообладание, ответил Слава.

Молодец, – восхитился Адом, – как вы всегда выкручиваться умеете, молодцы, – повторил он, – ты не обижайся, такой вы народ.

На всех не обидишься, привык я, – философски вздохнул Слава, – ничего не попишешь.

И опять тишина, долгая пауза...

– Что ж, так и сидеть будем, продукт прокисает, – нахмурились произнёс Адом, наполняя рюмки, – нравишься ты мне, Вознюк, хороший ты парень, хоть и еврей. Есть у меня к тебе дело. Понимаешь, заказ имею, один из ваших книгу написал, хорошую книгу, про нас, хвамилиа его Натан Рыбак, може, чув? “Переписанська Рада”, як Богдан объединил Россию с Украиной. Так от, хочу чтобы мы с тобой охвормили её и иллюстрации сделали. Кумекаешь, а?..

Зачем, – ответил Слава сквозь зубы, – мне помощь не нужна, и сам могу всё сделать.

Сам. Знаю, что сам. Думал для дружбы, – побагровел Адом, – единоличник ты, вот кто. Сам не получишь.

Вскоре Адом ушёл.

Назавтра Слава зашёл по каким-то делам в редакцию и встретил в коридоре Адома.

Ты чего такой надутый? – удивился тот.

Не надутый я, – ответил Слава, – вот , разрешение получил, угажно я навсегда, за билетами тороплюсь.

И шо, – возмутился Адом, – не дождёшься выхода книги? Погано.

Чмыхал я, – выдал свой каламбур Слава.

Ну, валяй, обиженным тоном сказал Адом, – кланяйся Гробу Господнему. Привет всем еврейчикам. Скатертью дорога... У-у... мен...

МЕЧТА

Нине Озеровой

Струится тропинка, ведущая к краю земли.
Текут по ней толпы со всех закоулочков света.
А там, на краю, ожидают уже корабли,
чтоб их отвезти на другую большую планету.

Её населяет весёлый приветливый люд.
Повсюду улыбки. Нет места слезам здесь и горю.
Здесь ночь голубая. Здесь ландыши вечно цветут.
И дикие звери гуляют себе на просторе.

Здесь климат иной. Вся планета на диво чиста.
Работу свою с удовольствием делает каждый.
Зовётся планета таинственным словом “Мечта”...
А может быть просто она мне приснилась однажды.

НА МАЙОРКЕ

Я на море гляжу, как воркуя бушует прибой –
это ветер морскою шутливо играет судьбой –
и не может придумать чего-нибудь более вздорней...

Над водою разносится чаек рокочущий крик,
небо гаснет, накинувши на ночь свинцовый парик.
Каждый вечер здесь так. Что является в общем-то нормой...

На верандах и пенье, и смех, и гитар перебор,
и о чём-то настойчиво просит сеньору сеньор –
волшебство это явно питает поэзии корни.

ИНЪЕКЦИЯ ЛУННОГО СВЕТА

Расплескался по небу свет лунный.
Мрак ночной в нём неуклонно тонет.
Наши долгожданные кануны –
маска, как на мёртвом фараоне.

Нынче не до шуток, не до песен.
Зачарованы все этим светом.
Мир стал неожиданно чудесен,
добрым подчиняется приметам.

Все обиды сразу растеряли.
Все друг друга молят о прощеньи.
Вроде нет на свете аномалий.
Будто лунный свет всем – Воскресенье.

СКУКА

На земном огромном шаре
люди беспрестанно шарят –
что-то ищут.
Счастья, денег и жилища
ищут, выпучив глазища,
ищут пищу...

Вдруг случается – находят.
И тогда довольны вроде –
вот, удача!
Те же, кто не очень ловкий,
попадают в мышеловки –
тем иначе...

Так всегда, на нашем шаре
толчая, как на базаре –
не продраться.

Все друг друга атакуют,
трёпку задают большую.
У-ух!.. ску-ушно, братцы!..

* * *

Смеркается рано. Что делать? Зима
навесила простыни ночи.
Наохлились птицы, деревья, дома
и жизнь, как-будто короче.

Ещё один день уплывает в зенит
дыханием зимним исчерпан.
Он не был особым ничем знаменит,
и тем же назавтра начертан.

И так ежедневно. Тоска и зима,
и сумерек хмурые брови.
И ждёшь с нетерпеньем, и сходишь с ума,
когда же окончишь зимовье.

* * *

Ты, словно факт, неотвратимо
мне преподносишь всякий раз
струёю жалящего дыма
тоску, плывущую из глаз.

Тобою создан микроклимат,
с горчинкой терпкий аромат –
в нём вёсны, осени и зимы
образовали стройный ряд.

Порой слова твои, как жало –
остры, коварны и резки.
Порой полны щемящих жалоб
и неразменной тоски.

И снова я, ну, что поделать,
привычкой нежности влеком –
ловлю твой взгляд, так несмело,
и жалости глотаю ком.

ВДОХНОВЕНИЕ

Луна голубая
на фоне уснувшего неба,
в окне проплывает,
как будто прозрачная небьель.

Улыбкой злорадной
и взглядом надменно-колючим,
как нить Ариадны
дорогу наметила тучам.

Призыв интереса
стучит в черепную коробку.
Рождается пьеса
заманчиво, тихо и робко.

И как из тумана
наброски сюжета и лица.
Незванно-нежданно
бегут за страницей страницы.

Вот так, ниоткуда,
на собственное удивленье,
как сон и как чудо
является к нам вдохновенье.

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Среди жёлтых листьев клёна
лист один, ещё зелёный,
нам судьбою сохранён.
Всех моложе и изящней,
зависть пожелтевшей чащи –
им гордится старый клён.
С разных точек, он повсюду
восхищает изумрудом
в стронциановом бреду.
На ветру кружится в пляске
и висит волшебной сказкой
в ботаническом саду.

НАТЮРМОРТ

Стоит на драпировке тонкой
большой кувшин из меди звонкой,
а рядом дичь.
Гранат и ветка винограда,
и ананасная громада,
ржаной кулич.

Хозяйки бюст и профиль с краю.
На них я с шалостью взираю –
вот высший сорт.
Как тонко мастер всё подметил
собравши вместе яства эти
в свой натюрморт.

К МУЗЕ

Заходи. Не стесняйся. Присядь.
Подскажи мне сюжеты и темы.
Собери мои мысли в поэмы.
Помоги мне их в строфы связать.

Твой всегда долгожданен приход.
Почему ж ты стоишь у порога?
Дай тобой насладиться немного.
Поддержи моих замыслов взлёт.

Мой изысканно-ласковый гость.
Для меня твой визит, как подарок.
При тебе я пишу без помарок –
Мой бальзам. Моя радость и злость.

Ты мне шепчешь слова сгоряча.
Ты как молния, рвущая небо.
Как последняя корочка хлеба.
Как последняя в жизни свеча.

При тебе я подвижен и скор.
Я с тобой продлеваю мгновенья –
моё лучшее стихотворенье –
Мой восторг. Мой задор. Мой укор.

ХРОМОЙ СОНЕТ

Был так прекрасен день вчерашний –
остался он в оконной раме.
Вот только тусклы стали башни,
но ярче купола на храме.

Возможно, виновата осень,
что листья в многоцветьи оспин
и в том, что солнце светит бледно,

да облака немного ниже –
то вдруг плывут они бесстыже,
то исчезают незаметно.

ФАКТ

...а факт, настойчивый подлец,
упорно лезет в суть финала,
преодолевши, наконец,
сопротивленья материала.

Он беспощаден и упрям.
Он отравляет душу зельем.
Связав целительный бальзам
с разочарованным похмельем.

И утверждая результат
он добивается признанья.
Его, насторожившись, чтят,
смирившись с ним, как с наказаньем.

КРИКИ

Ветер крики подхватив,
их несет по переулкам.
И они бравурно, гулко
превращаются в мотив.

Забираются в дома
и закладывают уши,
проникают прямо в души,
будоражат закрома.

Оценив их аромат,
композитор, как постфактум,
им подправил ритмы, такты
и оформил звукоряд.

“Та-ла-ла! та-ла! ла-ла!” -
эти уличные крики
стали музыкой великой,
коль легенда не врала.

Марлен Глинкин

СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

Пластинка лениво вертелась на старом патефоне и иголка отчаянно спотыкалась на трещине поперек пластинки, но мы ничего, кроме этой мелодии, слышать не желали.

– М - м - мучу, – заикался Вася Сидоренко.

– Бэссамучу, – колотили двумя парами ног о пол брата Копыто.

– Б-э, – лениво шевелила губами Мила Савченко.

И в десятый раз я мчался к патефону, чтобы опустить тупую иголку на черный диск знойной “мучи”.

А директор школы, фронтовик-танкист, Иван Доценко, которого мы все звали Батей, хрипло ворчал:

– От шпана! Знов свою полову крутят...

“Бэссамэ, бэссамэ мучо!...”

Вместе с пластинкой вращались стены, окна, колонны школьного зала, отутюженные учителя и причесанные выпускники, мальчики в отцовских пиджаках и девочки в маминых туфлях. А наши мамы жались к серым стенам и млели от гордости и радости:

– А ваш который?

– Который с дылды Светкой танцует.

– А вы?

– А я мама той дылды...

Первыми бросаются в танец Толя и Оля, “жених и невеста”, словно склеенные клеем “Безфом” и “наелися теста”.

Это после комсомольского собрания “тесто усохло”, с разбором их

“аморального поведения” в присутствии родителей, комсорга и парторга школы...

Танцует Вера Семеновна, помните: “Ребята, я буду преподавать вам анатомию ...”

Нога на ногу, открытые круглые колени, точеная шея, серые глаза, влажный сочный рот, бюст, указывающий желаемый путь вперед...

С первой минуты все мальчишки влюбились в этот путь... и увлеклись анатомией.

А с нею, прижавшись к “анатомическому” бюсту, движется в “муче” наш классный поэт, стилига и “бабник”, неповторимый Лелик Миллер, умевший вопреки природе спать на уроках с открытыми глазами и подсказывать с закрытым ртом.

Физик, Давид Исаевич, в допотопном костюме и, как всегда с болтающимися белыми завязочками от кальсон, циркулирует к Миличке Савченко.

– Разрешите пригласить?

Красавица-принцесса разрешает, и он, пытая и сбиваясь, выверчивается с ней спирали, чуть не падая, когда Миличка наступает на его, волочащиеся по полу, завязочки. Смутившись, он отводит ее на место, как в кино, целует ручку, а она:

– Ладно, Давид Исаевич, трояк я вам поставлю, на больше вы не тянете...

“Бэссаме, бэссаме мучо...”

Но когда же, когда же, когда?

И вот долгожданная минута приходит вместе с набриолиненным представителем района, вместе с его блестящим портфелем и алой папкой.

– Закругляйтесь, балеруны! – командует Батя.

И поскольку мы еще не в состоянии ответить на его вопрос, возглашает:

– Учэба, учэба и учэба! – и торжественно начинает вручать медали.

– Серебряну медаль – Грубнику Сергею.

– Серебряну – Сидоренку Василию.

– И золоту – Голубевой Наталье.

“Бэ - сса - мэ - бэ - сса - ме - му - чо !” ...

Иголка уже проваливается в трещину, как Эдька Перунов на экзаменах:

– Что вы можете сказать о теореме Пифагора?

– Ничего, кроме хорошего...

А Леничка Мучник, ой, мне плохо! Весь вечер только с мамочкой,

топ -топ-топ, и оба такие умные и такие в очках, вроде это не “муча”, а контрольная по тригонометрии...

И братья Копыто, наш щит и меч во всех драках, откалывают четку, наши Копыто в одной куртке, перешитой из отцовской гимнастерки, на двоих...

А Севка Жариков, ну дает ! Ведет географичку, будто катит глобус, осторожно касаясь руками южного полушария. А как она ему улыбается! Не то, что на уроках, когда...

– От чего зависит климат Англии?

– От термометра...

“Бэссаме, бэссаме мучо...”

– Дорогие товарищи! Аттестаты зрелости в сей радостный день... Аликову Владимиру – год рождения 1937-й, Белкину Станиславу – народився в 1937-м, Величко Татьяна – 37-го года рождения, Мучнику Леониду – тридцать седьмого...

Моя мама, моя бедная мама... В ее руках осиновым листом дрожит аттестат.

– Сынок! Ты же мне все врал. Тут одни тройки...

– Что ты, мамочка, вот четверка!

– По поведению, сыночек, по поведению...

Трещина на пластинке катастрофически растет, иголка уже не в силах преодолеть ее, и пластинка раскалывается, как наша жизнь, на две половинки – детство и зрелость.

И на их границе взрывается наш поддатый Батя. Он натывается на Мучника, сбивает с него очки и жалостливо хрипит:

– Леничка! Прости меня, если можешь! Я не директор, я тряпка! Я на колени перед тобой...

– Что вы ? Зачем ? Не надо!..

Но Батю не сумела остановить танковая армия Гудериана, где уж Леничке! Он расталкивает ребят, родителей, учителей и бросается к благодушному представителю районо:

– Пристрелю салагу! Партбилет покладу, но убью!..

– Позвольте, тут не место и не время...

– Ах, ты гад! – Батя хватает представителя районо за лацканы пиджака, – По якому праву ты не дал Мучнику медаль?! Вин же Эйнштейн, по уму, а на ту графу!..

Мы тоже хотим знать, почему Ленъке не досталась золотая медаль, ведь он лучший в классе.

– Не вашего ума дело, – расталкивает нас по углам раскрасневшаяся анатомичка, – веселитесь!

И мы послушно веселимся, только Коробков, “больная совесть наша”, допытывается:

– А п - п - почему?

– Ой, да неужели не понятно, он же француз...

Представитель района, серый, как стена, срочно исчезает, бросив на ходу:

– Вы за это ответите!.. Я доложу кому надо...

А Батя уже кричит во все горло:

– Коновалов, де ты делся? Заспивуй свою “мучу”, чортяка!

Физик циркулирует к маме Сереге Савченко.

– Разрешите пригласить?

– Та вы с меня смеетесь! – смущается мамаша.

А в танце Давид Исаевич выдает комплимент:

– У вашего сына выдающиеся способности к физике.

– Оно й понятно, – отвечает счастливая мать, – в нього ж и дид був физично развитый, и батько, – физкультурник, и я, слава богу, двадцать лет белье стираю, тоже физическая работа.

Он галантно целует ее распухшую от кипятка руку. А Серегин отец – физкультурник, как и большинство наших отцов пропал без права переписки в 37-м, или лежит в братской могиле под надписью “погиб в 41-м”, “пал в 42-м”, “смертью храбрых в 43-м” под Сталинградом, Харьковом, Киевом, Будапештом... “бэссаме мучо!”

Сколько сейчас времени? Не знаем. Потому, что ни у кого из нас нет часов.

Но Батя, которому никогда больше не быть директором, вытаскивает из кармана кителя трофейный “лонжин” и объявляет:

– Шесть часов четырнадцать минут.

И словно по его сигналу на Владимирскую горку выкатывается солнечный диск.

Мы прощаемся с Батей, с учителями, друг с другом, договариваемся встретиться через месяц, обещаем через год, клянемся через десять, но встречаемся через четверть века, когда половины наших учителей уже нет в живых, а нас разметало по белу свету, и мы с трудом узнаем друг друга и друг о друге.

Это встреча дружеских шаржей. Но как бы ни было смешно, нас еще можно узнать.

– Копыто, здравия желаю, уже капитан второго ранга.

– Голубева – руководитель областного масштаба. Не смогли дозвониться.

– Коновалов. Опять под следствием.

- Мельник конструирует “Антей”.
- Милочка Савченко – ассистент у самого Амосова.
- Олечка и Толечка в этом году отправили внука в школу.
- Мучник в Калифорнийском университете, профессор.
- А в последнем номере “Огонька” читали? Ну, статью Коробкова.

Круто пишет. А какое название? – “П - п - почему?”

И я (“что с тебя выйдет, артист погорелого театра”) склеиваю в памяти расколотую пластинку “Мучу”, склеиваю детство со зрелостью, прошлое с будущим, чтобы мы, слушая заморскую песенку, не забывали, из какого года мы родом.

“Бэссаме, бэссаме мучо!”

Ребятки, а почему у вас мокрые глаза?..

Петр Заманский

БАБИЙ ЯР

ретроспективная поэма

1.

Ветер, стой! Пощади.
Не бросайся так яро.
Видишь, люди на площади
возле Бабьего Яра.
Пламя б вечное высечь
не у плит мавзолея –
здесь, где тысячи тысяч
убиенных евреев.
Крутит снежная заметь...
плачет горько и громко.
...павшим...веч-н-а-я...па...мять...
...от скор-бя-щих...по-том-ков...

2.

Давно следы бомбёжек не видны.
Давно травой позаросли окопы.
И памятники жертвам той войны
В гранит одели города Европы.
Исколесив туристом материк,

Я видел их. Восстав над площадями,
Они явили материнский лик
С типично иудейскими чертами.
Седую прядь прикрыла скорбно шаль,
Воздеты к небу жилистые руки,
И вся она – и гордость, и печаль.
Запомните её такую, внуки!

3.

Киев. Пух тополиный. Моя Куренёвка.
Возле Бабьего Яра шумят бурьяны.
О, как мне перед целой Европой неловко!
Где ж ты, памятный лик отшумевшей войны!..
Где ж ты, в бронзе и мраморе, в тёмном граните
Обобщённая, скорбная суть бытия ?..
Вы меня за советскую власть извините :
У неё к этой памяти стёжка своя.

4.

Плачет небо. Громы мечет.
Мне бы, мне бы птицей кречет
пасть на землю возле Яра.
Горю вне-млю...Кара, кара
тем, кто нынче предаёт
смерть и слёзы, кровь и пот.
Жертвы этого не знают.
Жертвы к памяти взывают.
Не стучи, пророк Илья,
в туче колесницей.
Пусть просохнет мать-земля,
небо прояснится.
Собирается народ.
Нынче годовщина.
Вот уже десятый год...
Бабий Яр. Машина.
В кузове поэт стоит

и, чеканя строки,
очень внятно говорит :
– Все минули сроки.
Пусть идёт в ЦК письмо
от простого люда...
Сзади голос : – Ты...дерьмо...
сматывай отсюда.
Подбиваешь всех жидов
идти против власти ?..
Хочешь крови ?..Вот те, кровь! –
кулаком с размаху в бровь ?...
– Приехали...слазьте...
Другой на Некрасова пялит глаза :
– А ты-то ведь, русский...
не путайся зря.
Посторонний подойдёт,
посторонний – не поймёт :
то ли митинг охраняют,
то ли митинг разгоняют ?..
Ваксой чищенный сапог
рыжего громилы
в луже утопил венок,
сорванный с могилы.
С красной полосой пикап.
И в него проворно
два мильтона, будто в шкаф,
грузят непокорных.
Только, Боже упаси,
чтоб пронюхал кто-то,
что творится на Руси :
Всех опасней – Би Би Си.
Всех страшней – Свобода.
И всё же начальство
забилось в истерике :
“Какое нахальство!?!..
Голос Америки
задумал злословить :
“На ев-ре-ев го-не-ние...”

ТАССу готовить
о-про-вер-же-ние!..
...Плачет небо. Стонет гром.
День сырой и мглистый.
Митинг в Яре. А кругом –
цепью – кагебисты.

5.

В бывшем лагере мраморный камень заложен.
Потускнело от времени золото строк.
И не знает никто, что здесь выстроят позже,
И вообще ли наступит открытия срок.
Десять лет митингуем у камня-задатка...
Наконец, в исполкоме “товарищ” в чинах
Предложил Бабий Яр превратить в танцплощадку (!)
Встреча прошлого с будущим : бал на костях!
(Чтобы – бар с коньяком, ресторанные залы,
пожелал – за усопшего трахнуть бокал,
Чтобы песни и джаз, и подвыпивший малый,
Извините, но в Бабьем Яру...порыгал).
И взбрeдeт же такое чиновной паскуде?!..
(Где он был в 41-м, в тот горестный год ?..)
Только есть ещё, видимо, трезвые люди :
Кто-то сверху одёрнул : “Что скажет народ ?..
Как оценит Европа ?.. Посмотрим реально :
Вся планета осудит нас наверняка.
Нужен конкурс на памятник! Ме-мо-ри-альный!..
Но...конечно, под строгим надзором ЦК!..
...И тогда в горсовет были вызваны зодчие.
Срочно график работ! Впрочем, срочно не очень-то.
(Как сказал мне один выпускник ВПШ :
– Дело делать спешим. Но спешим, не спеша).
И, словно взывая к потерянной совести
партийных чиновников и КГБ,
Бабий Яр оглушил нас трагической новостью,
И городу стало вдруг не по себе.
Возле Яра грунтовые воды рванули

И осела земля. В нарастающем гуле
смерть обрушилась вниз и накрыла потоком
и людей, и дома, и трамваи под током,
даже мост, что повис над дорогой ссутулясь...
Стал кладбищем асфальт потревоженных улиц.
Но пригладила пресса недобрые вести :
вместо “тысячи жертв”, напечатала – “двести” :
запретили к могилам народные шествия.
Всё свели к “ор-ди-нар-но-му происшествию” (!)
Лишь в соборе старушки, смиренные с виду,
голосили, по мёртвым, отпев панихиду :
“Вот что значит взмечтать танцевать на костях...”
да включались тайком от соседей транзисторы
в час, когда лунный диск серебрился в окне.
и тогда, в поединке с помехами выстояв,
устремилась к нам Правда Свободы без выстрелов,
мы ловили её на короткой волне.

6.

...Всё ж свершилось. Я помню дождливое утро.
Сотни лиц. Все торжественно напряжены.
Из тумана вдруг выплыл трагически мудрый
серакаменный реквием жертвам войны.
Вот оно – это прошлое Бабьего Яра,
возвращённое людям по воле резца
в обобщённо-конкретных деталях кошмара :
в позах, в жестах, в застывшей гримасе лица.
Миг святой тишины...дальше всё по реестру :
в карауле – герои днепровских боёв.
Слово члену ЦК – медь военных оркестров
и народная память – монбланы цветов.

7.

Скорбный текст на плите. В нём слова, бронзовея,
так и просят сами в торжественный стих.
В них есть всё. Ничего только нет о...евреях.

Будто в Бабьем Яру расстреляли не их!
Будто тысячи тысяч не шли по Артёма,
на руках не держали уснувших детей
и не с ними прощались соседи по дому,
те, кто, судя по паспорту, был не еврей.
Будто в братской могиле, под чёрной плитою,
рядом с русским солдатом – пленённым стрелком –
не евреи лежат, а зарыты изгои...
Впрочем хватит. Всё ясно. Закончим на том.

8.

Европа...Европа...Стоят обелиски.
Цветы положи, обойди не спеша...
“Солдатам французским...”
“Солдатам английским...”
“Солдатам России...”
“Бойцам США...”
Звезда в шесть углов – монумент чёрно-белый
(его в сорок пятом ещё возвели,
как дань уважения к нации целой,
едва не исчезнувшей с лика земли).
...Стоят монументы. Стоят обелиски.
В Париже. В Ковентри. В столице австрийской...
От чувства и сердца проложены тропы
к тем памятным вехам Свободной Европы...

9.

И только в России, как вечные данники,
на лесоповале в глухой стороне,
исчезают в бессрочном советском Майданеке
наследники тех, кто погиб на войне,
наследники узников Бабьего Яра...
Но за каждую каплю их крови и слёз
придут, как возмездие плахою – кара,

обелисками – память у чахлых берёз.
А может быть, общая ляжет плита
и будет на ней написано так :
“А им такое видеть довелось!..
А им такое в жизни приходилось!..
чего другим до пепельных волос,
до старости дожившим не приснилось.
Закроешь глаза и предстанут незримо
(число их я просто назвать не берусь)
все жертвы ГУЛАГа, все жертвы режима,
несметная армия павших за Русь.
А рядом – за вышками снег индевет
и солнце встаёт над бараком-музеем.
И сковано всё тишиной ледящей..
День завтрашний : радостный день и скорбящий.
...Ветер, стой!.. Не ершись. Не бросайся так яро.
Видишь, люди сошлись возле Бабьего Яра.
Пламя б вечное высечь не у плит мавзолея –
здесь! – где тысячи тысяч убиенных евреев.
Тополиная заметь плачет горько и громко :
Павшим ве-чна-я па-мя-ть
бла-го-дар-ных по-том-ков...

Леонид Кац

С РУССКИМИ РЕМИНИСЦЕНЦИЯМИ – О БЕРЛИНСКИХ МАГАЗИНАХ

Мне снилось чудное мгновенье:
Фонарь. Аптека. Магазин.
Еще один. Еще один.
Размах приводит в восхищенье.

Их опишу – чего же боле?
Как поприличнее сказать?
В сердцах попомнив чью-то мать
Раз посетил случайно БОЛЛЕ.

Соседка – русская, Ребекка,
Лишь овощи и фрукты ест.
Из всех гешефтов, что окрест,
Всего милее ей ЭДЕКА.

Но если позволяет рента,
К тому ж ты – по мясному мастер –
Уйми сомнения и страсти:
Нет, право, лучше КОНТИНЕНТА.

Мне ж не до музыки Вивальди,
Не мандолиню из-под стен,
Когда дешевые совсем
Продукты покупаю в АЛЬДИ.

О ПЕННИ нету песнопений,
Тишь, даже шорохи слышны.
А жаль: ведь без тугой мошны
Берлинцу не прожить без ПЕННИ.

В Берлине магазинов много.
Но пришлый видит пешеход
Не их, а все наоборот:
Лишь Бранденбургских мощь ворот,
И башни, и церковный свод,
И жизнь за пазухой у Бога.

НАВЕЯННОЕ
СТИХОТВОРЕНИЕМ ПУШКИНА
“ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН”

Храни меня, мой талисман
От штормов и валов ревучих,
Гонений, злобы, неба в тучах,
Болезней и сердечных ран.

Да, в этот сладостный обман
Так истово поверил Пушкин,
Назвав случайно побрякушку
Священным словом “талисман”.

Пойду на Божий суд не зван
И я, хоть в жизни многогрешен.
Путь к совершенству безуспешен.
Мне не поможет талисман.

Душа моя – сплошной изъясн,
И путь к спасенью многотруден,
Я Богу докажу и людям,
Что мне не нужен талисман.

Но если Богом будет дан
Мне талисман для дней остатка,
Вслед Пушкину скажу я кратко:
“Храни меня, мой талисман !”

Яна КуТИН

КРЕСТИ

Год подкатывался к концу, а с ним и сроки нашей двухгодичной темы, и, как ни кинь, надо было добывать справки о внедрении и экономическом эффекте. Ира ездила со мной в Уральск летом, теперь была очередь Сани.

Уехали в воскресенье, самолет на Уральск вместо одиннадцати утра улетел из Москвы в одиннадцать ночи, съездили на часок по домам, я встретила с Ирой, отдала ей еще несколько листков текста для отчета.

В Уральск прилетели ночью, на такси добрались в гостиницу, было местного часа три. Проспали до девяти, пришли в полдень в экспедицию, к начальнику, к Голю. Он другой, чем год назад, сказывается работа в Йемене, хорошо одет, как Саня говорит, из “Березки”, решителен. К нам приветлив, дружелюбен и готов на любое сотрудничество. Передали на ВЦ наши программы – хотя свои им как всегда кажутся лучше, сделали сообщение, подписали акт, протокол, сняли на кальку скважину – все при добром его отношении. Вот только одна незадача, акт теперь надо подписывать в тресте. Эта новость не была неожиданной, отношения с казахским трестом уже начинали портиться, но продлевать командировку еще на неделю не хотелось ни с какой стороны – слать телеграмму о продлении, звонить о перемене планов домашним – у Сани подруги, у меня дети и мама. Мы решили успеть до конца этой недели.

Свернули в трубочку нашу гордость – компьютерные разрезы через Прикаспийскую Впадину, раскрашенные как картина

местными геологами, попрощались с ними, выписались из гостиницы и вечером поехали на вокзал. Билетов заранее все равно заказать нельзя, поезд проходящий.

Серой колючей снежной поземкой ветер заметал Чапаева, смотревшего с пьедестала сквозь деревья вниз на реку, которую он не переплыл. Он, ветер, размахивал своим морозным клинком на вокзальной площади, доставая нас, вышедших из автобуса. Мы заторопились к кассам. Нам на приходящий поезд, пустите без очереди. Все на этот поезд.

Народу у касс немного, но очередь стоит без движения, напряженно и не разговаривая. Поезда опаздывают из-за заносов. В зале очень холодно. Чтобы согреться в стеклянном вокзале нет и речи, лишь бы совсем не замерзнуть, ветер по вокзалу гуляет словно в степи. Объясняют – дует из туннеля, который ведет на пути. В Уральске климат континентальный, а вокзал сделан явно по чужестранной моде. Я стою на мраморном полу как босиком, дрожу и не могу перестать. Что-то надо делать.

– Я пойду искать дежурную по вокзалу, – говорю я Сане. Он усмехается едко и снисходительно, рассматривая мои действия как суету.

Говорят, что дежурная внизу, я спускаюсь по лестнице, и вот где оказывается тепло – в подвале. В камере хранения, милиции, медпункте и комнате помощника начальника вокзала. Я вижу, как люди бродят здесь, пытаюсь коснуться батарей. Я тоже хочу прильнуть к батарее. Увы. Комната помощника начальника, где мне удастся наконец завязать разговор с дежурной, что вот, мол, командировочные, Москва, трест, экспедиция ... – заполняется новыми и новыми людьми. Устав объяснять, что ничем не может помочь, дежурная уходит, закрывая за собой и нами двери.

Формируясь в некую аморфную массу мы оказываемся у автоматических камер хранения и удивляясь пространству и теплу расходимся по дальним батареям. Но вот оно что – щегольский казах-милиционер выставляет нас оттуда каждого поодиночке – тут находиться не положено. Если молча, то еще десять минут удалось бы постоять в теплом коридоре милиции, но общество не выдерживает, разгораясь как костер вспыхивает перебранка, и здесь нас тоже больше не терпят. Наконец, мы находим медпункт, там

сестра спит, и все тихо стоят по стенам, сидят на топчанах или спят на полу. Иногда я меняю Саню у кассы, он храбрится, но и его тоже бьет холодная дрожь. Так идет ночь.

Утром объявляют приход поезда на Алма-Ату. Он опоздал на шесть часов, билетов нет, незачем кричать и бороться у касс. В предутренних сумерках мы с Саней бегаем по перрону, почему-то с другой стороны, где нет посадки. Все двери закрыты, кроме одной, но это вагон-ресторан, и Саня снова спрыгивает на ту сторону, а я на платформу.

На перроне желтый свет фонарей безнадежно мешается с холодным рассветом. Тут отбивается от людей дежурная. Она неожиданно узнает меня. Это вы? Возьмите их, говорит она проводникам, они командировочные. Вот и милицейский опер тоже запомнил нас, служивых – вам разве не на Москву?

Я кричу в темноту: – Саня!!

Сани нет. Поезд трогается. Думаю лихорадочно - поехать одной? но сумка и все бумаги и документы? все у Сани.

– Саня, Саня! – кричу я, представляя как он мечется по другой стороне, не находя прохода. Сейчас поезд уйдет, мы останемся в этом мраморном вокзале и не приедем в пятницу в Алма-Ату.

Поезд останавливается, кто-то сорвал стоп-кран, вряд ли ради нас, но так кажется, и я опять кричу, надсаживая голос: – Саня! Саня!!

Из мешанины человеческого и механического гама, пятен света и темноты возникает бегущая фигура. Я вижу, как Саня бежит ко мне с сумками в руках, он обежал весь состав, и в этот момент кажется мне непутевым, странным и неприспособленным к жизни.

Мы хватаемся за ручки вагона, навстречу проводникам, кричащим:

– Куда вы?

Мы слышим за нами голос дежурной:

– Возьмите их! Идите в шестой вагон!

И это чудо – поезд двигается, и мы в нем, пусть в общем вагоне, пусть ничего пока не разобрать, не понять, но мы едем. Теперь все подобрели. Забирайтесь, вот свободная полка. Нет, здесь холодно. Я иду в глубину, нахожу боковое нижнее место, сажусь. Читать не

могу, достаю вязание, до вечера я буду сидеть в куртке и не смогу согреться.

Поезд снова останавливается, это Уральск товарный. По окаменелой земле, через торговки с дымящейся на морозе картошкой и лузгающих семечки мужиков, милиционер ведет к поезду молодых парней в телогрейках, в руках у них торбы. Долетают обрывки чьих-то слов: “Куда их всех в наш вагон...”

Поезд трогается, толпа распадается и смещается, я отрываюсь от окна и вижу, что за моим столиком, напротив меня, сидит парень в телогрейке, с бритой головой, и глазами... которые никуда не смотрят. Он кладет голову на шапку и дремлет. Полежал, поднял голову – кожа на лице серая, руки в черных точках, татуировка, одежда нечистая. Разговоры смолкли.

Потом я начинаю засыпать, голова падает на грудь, на столик, на вязание. Парень будит меня, может думает, что нельзя спать. А может ему хочется моего внимания, потому что все остальное враждебным кажется. Он говорит:

- У нас в зоне...
- В какой зоне?
- В Уральске в зоне, а до этого в Алма-Ате...
- А как ты туда попал?
- Семь лет дали за валюту.

Зовут его Петя, ему двадцать три года. Семнадцати взяли – потому сейчас амнистировали, что взяли как малолетку. Работал помощником повара в Медео. Отец плавал на кораблях, был большой, здоровый, а потом умер от белокровия...

- Я лет с пятнадцати уже жил самостоятельно. Жигули, девочки, японская аппаратура. Видели бы вы меня, какой я был тогда.

- Дайте, я помогу вам намотать эти нитки, мама тоже вязала всегда, а бабушка ковры делала. Это просто делать, берут иглу от внутривенного вливания, сверху колпачок и туда пропускают нить.

- Ты почему не ешь ничего?
- Не хочу.
- А деньги у тебя есть?
- Есть, нам по три рубля в день дали. Мы выпили по триста.

Вообще-то, думаю я, три рубля можно растянуть и на три дня, но не ему. У нас тоже никакой провизии не было, мы с Саней

пошли есть в вагон-ресторан, и ему я один судок принесла. Мясной борщ красный, как обычно, была еда. Он съел. Ну, народ в общем видит, что я ему уже как мать родная. Саня сидит дальше по проходу, он там с соседкой-старушкой беседует, к нам не подходит, только в усы посмеивается, поглядывает.

Парень говорит: – Вы знаете, тетя Аня, я о таких людях, как вы, только в книжках читал.

Он переделывает мое имя, я отрываюсь от вязания.

– Мать наверное теперь тебя уже дожидается!

– Мама не знает, что я еду.

– Что ж ты не сообщил?

– Да ничего, так лучше будет, обрадуется.

– Зря ты, ждать тоже радость.

– Да я не знаю, вообще-то, вот кореш просит с ним заехать к нему. Может, я у него недельки две побуду... Потом домой поеду. Я не знаю, сойду я с ним или поеду дальше...

Я представила – его мать не знает, что он уже не в зоне.

– А почему ты так хочешь?

– Да нет, я не хочу, я сам не хочу с ним сходить... Я сам не хочу, если я с ним сойду, всё пойдёт по новой, а я завязал, я с ним больше не буду.

– Сними свою телогреечку, – говорю я. Он снял

– Это они, наоборот, не хотят меня отпускать, говорят, чтобы я с ними сошёл. А если я сойду, всё опять пойдёт, они меня не выпустят, а я не хочу больше с ними.

– Ну ты говори, что едешь к матери, и всё, и не сходи. А мать где?

– В Алма-Ате.

– И мы туда едем. Не знаем еще, будет у нас гостиница или нет. Хочешь, дай нам свой адрес на всякий случай.

– Да, конечно, конечно, я дам вам адрес матери, вы к ней приедете.

– Но ты же раньше там будешь, ты же тоже приедешь?

– Ну в крайнем случае, если я не приеду, вы ей расскажете. Она хорошая, она вас примет.

По проходу кореша его ходят. Я сперва не заметила, что они все между собой знакомы. Он налил в кружку кипятку у проводников,

вернулся, чай заварил, угощает. Достал где-то пачку, половину стакана насыпал. Выпил. Теперь, говорит, немножко приободрился.

– Нет, я не сойду. Я твёрдо решил, что не сойду. Если я сойду, то всё! А там мне дядя машину даст, и я буду ездить всюду, и я на машине в Москву поеду. Вот посмотри!

Нож достал, я пальцами провела: – Вот это нож! И ручка разноцветная.

– Тебе нравится? я тебе такой же нож привезу. Какой ты хочешь? Это нож набранный. В зоне сделали, там, знаешь, какие мастера, что хочешь сделают. С воли получают части и набирают.

Я говорю, меня интересуют песни, ты песни знаешь, какие у вас поют? Я не знаю. А что, разве не пели? Нет, не пели. Ну как же?. У костра? – подсказала я, заминаясь неловкостью моих представлений о зоне. Он подумал. Да, пели. Мы собирались и пели. Но ты же помнишь песни? Помню, но не очень...

Он говорил, не знаю, вспомню ли, не был сам уверен, что сможет. Казалось, у него всё имеет какие-то неясные очертания, а потом, видно вот как у взрослого в склеротическом мозгу, что-то всплыло, забормотал про себя:

«В темноте, где полумрак ночной,
Среди воров, убийц и алкашей
Сижу на нарах я и проклинаяю
Народом избранных судей».

Я обрадовалась. Постой, я хочу записать. Я сам тебе запишу. Ну возьми, вот бумага, ручка, пиши. Он взял ручку, а пальцы у него темные, негибкие, так неловко ручку держат. Стал писать, ничего не выходит. Медленно, коряво, вагон дрожит, буквы скачут, все расплывается. Не умеет. Но хотел, хотел, ему хотелось для меня самому написать, да только какие-то значки по бумаге вкривь и вкось идут.

– Ну подожди, давай лучше я сама, я привыкла.

Долго он бормотал-напевал, я быстро пишу, сколько говорил, столько писала. Первая была мне известна – как он встретил в лагере подругу, а потом через много лет, когда его срок окончился, то в Ростове «ее больную, совсем седую их сын к вагону подводил». Девять куплетов.

Потом пошла «Нинка», шесть куплетов:

«Нинка как картинка

С фраером гребет
Дай-ка, керя, финку
Я пойду вперед».

Потом «Таганка», и он сказал – все!

А сам опять бормочет. Ух я тебе ещё одну песню сейчас скажу:

«На деревне погасли огни
Пред иконой старушка мать молится
Всемогущий мне сына верни
Всемогущий мне сына верни».

Эту, пожалуй, я раньше не слышала. По деревне той, неподалеку от дома, прогнали этап большой, и «среди них ее Лешка шагал. Вот он дернулся будто бы зверь лесной, грянул выстрел, и Лешка упал».

И без остановки еще одну начал:

«На берегу реки большой
Над быстрою рекою
Сидел задумчив плановой
С поникшей головою».

Но на этой уже стал прерываться, сбиваться. Песня показалась мне совсем нескладной, но я и ее записала. В ней было тоже девять куплетов.

– Плановой это наркоман! – объяснил мне. – Дай, посмотреть!

Я протянула ему листки, заполненные колонками строк, сверху написала: «Песни Петра Чусовитина». Он смотрел в них и вдруг как-то смяк.

Устал, отклонился: – Больше ничего не помню.

Потом, часов уже пять вечера было, освободилась верхняя полка. Я забралась на нее, накрылась курткой и провалилась в сон. Ночью – так мне показалось, в вагоне уже темно было, разбудили соседки.

– Этого твоего, сына что ли, увел какой-то парень, долго будил, будил и увел.

Я смотрю – тусклый желтый свет, спросонья не понимаю, кто увел, куда. Вспомнила, парень говорил, что они вместе еще с одним освободились, а тот с отцом едет, и отец его от себя не отпускает. Так и есть, пришли вскоре, он смотрит на меня, дескать вот она, и как бы извиняется. В карты сели играть.

На другой день опять сидим разговариваем, но как-то все уж у

него по-другому получается.

– Дядя мне машину купит, работать устроит. Но я работать не буду, поеду на машине отдыхать, нервы надо подлечить, я там был на учете у психолога, какой-то реактивный психоз...

Подолгу бывает с корешом, и ещё другие из соседних вагонов приходят, там их, видно, много амнистированных едет.

И как-то он так уже отходит.

– Ну не все ж такие хорошие, это же редко бывает, это только ты вот такая.

– Да нет, если ты будешь там, все тебя будут любить.

– Нет, нет, не будут.

Я чувствую, что это превращается уже в работу – все время с ним говорить, держать, убеждать. Мы едем, едем, сначала утро было, потом день – кусты, деревья, дороги, строения – всё мелькает и куда-то уходит, а он постепенно от своей решимости сползает. Что-то в нем сползает.

Вот эти кореша опять из того вагона пришли. Взяли его, ушли, возвращаются. То ли выпивали, то ли курили, не знаю, что делали. Он начинает уже так говорить:

– Ведь так прямо не проживёшь, куда ж мы приедем...

Я, когда он еще мне про машину сказал, удивилась, зачем тебе машина, не нужна тебе машина. Нет, я хочу всем показать, что я на машине езжу. Видно, в нём опять это же встаёт, с чего, наверное, всё началось – что он хочет себя показать. Чувствую, логика пошла уже не та вся. Ещё вроде отговорила, да-да, сказал. Проходит ещё какое-то время, говорит:

– Ну я всё же сойду, я не надолго, только его провожу, вроде ему тяжело одному домой идти, дружили, друг же.

– Не ходи, не надо, ты же сам знаешь.

Не спорит: – Да, да, наверное, не пойду, – но уже так неуверенно, а потом говорит:

– Дайте ваш адрес, я вам пришлю что-нибудь. Песни на кассете пришлю. Или ножик. Там у нас тоже делают.

Я стала было записывать адрес, а потом свернула, на почтамт до востребования написала. А потом и это пожалела. Сказал, я везде вас найду, вдруг и вправду?

Ну и вот. И он уже с ними всё время, они уже собираются. Потом он так почти не глядя на меня, ну может, кивнул головой,

мол, до свиданья, ну в общем уже не на контакте. И сошли.

Где сошли? На промежуточной станции. Наутро часов в шесть мы должны были в Алма-Ата приехать, а это было вечером, часов в шесть.

Мы приехали с Саней в Алма-Ату ранним утром и пошли пешком через город. Он был хорош. Как меняются осадочные породы на наших разрезах, так и тут кизяк и доски, из которых строились дома, постепенно замещались на мрамор. И самым удивительным было тепло и на деревьях ранняя зелень.

Адресом, конечно, мы не воспользовались. Дал нам начальник управления гостиницу, а акта так и не подписал. Может, и не с нами счета сводил, а с нашим начальством.

На другой день мы поехали на автобусе в горы. Сане все было в новинку, а я вспомнила о тех временах, когда за спиной профессора мы приезжали сюда проводить семинары, и нас возили на Медео. Теперь уже было не то. Никто не подхватывал под ручку, как тогда спускающегося с высот профессора, никто не подкалывал и не хохмил, как тогдашние мои друзья-аспиранты. В горах недавно прошел сель, везде были застывшие следы его страшных потоков. И высокогорный каток, которым в то время гордилась страна, стал простой каменистой площадкой.

А вечером началось все снова. На вокзале поезд ушел – Саня сказал, что в двадцать два, а он уходил в шестнадцать московского, я не проверяла. Билетов на следующий день нет, в аэропорту толпы таких же как мы. Нет мест никуда, куда бы вы ни хотели – Саратов, Чимкент, Кзыл-Орда, Куйбышев. Семнадцать человек в списке на посадку, и впереди них с телеграммами – никто из них не улетел на отправленном рейсе.

Снова среди ночи на такси, снова холодный вокзал, с семи утра у дверей кассового зала, отпихивая пришедших позже; в восемь – два места СВ по семьдесят восемь рублей! И это счастье.

Ошибкой было после бессонницы и холода гулять по городу. Тогда еще это почувствовала, в горах. Поздно. В поезде наслаждалась тишиной, покоем, вязала, читала. Дома заболела.

Приехали во вторник. Постепенно не стало голоса. Но в пятницу ведь защита на Ученом совете. Саня как всегда не соглашается выступать. Ира на больничном, у дочери сотрясение мозга.

– Прошепчете что-то с подмостков, у меня же нет вашего

артистизма, – говорит Саня. Но на самом деле делает все возможное, хотя и ходит с температурой.

Ну все же за науку отчитались.

А песни на листах в клетку я отдала сыну. Он взял их в руки и сказал с нетерпеливой радостью коллекционера:

– Здорово, таких вариантов еще не было. А этой я вообще раньше не встречал. Смотри, как песни живут! «Плановой» это же детский стишок прошлого века – «Ах попалась птичка, стой, не уйдешь из сети».

Еще почитал, поразбирал и уже назидательно сказал:

– Смотри, здесь вот,

«Срок ни споловинить, ни скосить ни дня

Черви, буби, вини, а для меня кресты»,

должно быть, конечно, «а крести для меня». Разрушилась рифма, но он не слышит, он ведь не знает, почему стихотворение складно. И вообще для него естественнее сказать «для меня что-то». Потому что всегда сначала я, а потом все остальные. Но заметь, в этой редакции «а для меня кресты» виднее стал смысл, о чём говорится. Потому что «крести для меня» это поэтический образ, его еще надо перевести в кресты, а здесь напрямую сказано.

С той поры прошло десять лет. «Песни Петра Чусовитина» живут вместе с четырьмя тысячами других в коллекции *Боян* на Интернетe.

Берлин, 1998

* * *

Понятие, с тобой ли поравнять число
А.Бройдо

Немножко врозь, затем что слишком близко
Немножко врозь, чтоб время улеглось
Покорною зверюгой в шкуре сфинкса
И вдруг сорвавшись снова понеслось

Невыспанной рукой хватать бумагу
Спросонья ухватив прозрение за хвост
Забыв про всё земное знать отвагу
Меж словом и числом воздвигнуть мост

Труба зовёт, а жизнь не отпускает
А слово и число всё снова спор ведут
И сети свой улов по крохам собирают
Коммуникаций проблески несут

Над рябью утомлённого залива
Над суетою гавани и вод
Опять выходим мы на ловлю слова
На безрассудной шлюпке из частот

Вдали долина красками играет
Так притягательны людские голоса
Пройдёт волна, придёт волна другая
И скроются за нами небеса

О нет наш диалог не перелистан
О только б этот бег песка унять
Намёков и теней, прозрений, мыслей
Аккордов, акварелей, слов и нот

Кто выбрал нас с тобою для погони
Чтоб слова с словом связь найти, сомкнуть
Воров и дембелей, и умиравших в зоне
Кто снарядил нас в бесконечный путь?

Ты знаешь ведь, что мы с тобою ищем
Ты знаешь ведь, что значит нам прозреть
Вдруг отыскать единственные числа
Сложить, понять, запеть и умереть

Попытка порознь и опять не вышло
Словом над словом дыбится вопрос
И время впрягшись в вздыбленное дышло
С руки сорвавшись снова понеслось

* * *

Абрахаму

В твоих взглядах как на качелях качаться
В твоих взглядах как в ласковом море плыть
Тихо руку погладишь когда прощаться
Вот уж и хватит, чтоб радостной быть

Твой взгляд смешливый как крылья чайки
Тень важности нежной на солнечный склон
Обманет прохладой, знаком нечаянным
И вот ты разгадан, попал в полон

Коричневый домик, так вот ты чей был
Так вот ты какому князю служил
Он тоже свой прежний срок уже отбыл
И жизнью второй или третьей здесь жил

Зачермушен город, залиловлены дали
Тропинка в гору и птичья песнь
Вот эти деревья и эти скалы
О Мерлин волшебный, это твой лес!

Я шла по камням, я шла по моху
Увязая в расщелинах с прошлогодней травой
Где вы? куда вы? правее дорога
Князь тихой поступью поднимался тропой

Сквозь лиловые сумерки тихо тени дрожали
Ах как тихо как нежно поцеловал
Ветви розовых сосен с закатом играли
Я люблю вас - так просто как ветер сказал

И все стало вдруг сине, туманно и зыбко
Мы спустились неспешно каменистой тропой
И в светлом сосуде всплеснулась улыбка
Тонком и нежном с чистой резьбой

Я в дальние скалы за окна глядела
Ты был, о князь, как всегда молчалив
Древним ивритом гитара пела
Дрожащие стебли струн распустив

Семен Дурье

ОСЕНЬ В БЕРЛИНЕ

Берлинская осень. Ветра утихают.
В такой тишине отдыхает душа,
И мысли невольные вдруг возникают,
Что ранняя осень здесь так хороша.

Уходят сомненья – приходит надежда,
И пусть ненадолго приходит она,
А я вспоминаю, как пылко и нежно
Когда-то меня вдохновляла весна.

Теперь не весна здесь, а тихая осень
С тоской и печалью приходит ко мне.
Никто никогда ни о чем не попросит,
И прежним останусь я только во сне.

БЛАТ И ТАЛАНТ

Однажды вдруг стеснительный Талант
Со вздохом к Блату обратился:
“Да, много доброго я сделал людям, брат,
А для себя так ничего и не добился”.

Нахальный Блат с усмешкой отвечал:
“Ну и дурак, что много людям дал,
Хоть ты и горд, но без меня б пропал,
А я и без таланта все от жизни взял,
И на тебя я, брат, плевал”.

РОМАНС О ПОЭТЕ

Я представляю летний день:
В цвету душистая сирень,
А над строкой Поэта тень...
Мне Ваш сонет читать не лень.

Какая связь стихов с Поэтом?
Прямая связь меж ними есть:
Характер личности при этом
Проявлен, безусловно, здесь.

Не раз читая Ваш сонет,
Невольно нахожу ответ:
В сонете – Ваш живой портрет.
Есть сходство в нем? А может – нет ?

ПАМЯТИ ГАЛИНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ

Убили Старовойтову!
Стреляли в Демократию!
В России, Богом проклятой,
Погромное распятие!
Христовы черносотенцы
По Питеру гуляют,
С иконой Богородицы
покою угрожают!

В крови жила Россия,
В крови ты и живешь:
Кровавую стихию
Не смоешь, не сотрешь...

ВАЛЬС “ХОЛМ ВЕСНЫ”

Холм весны – Тель-Авив,
ты приветлив, и добр, и красив.
Холм весны – Тель-Авив,
как всегда ты и смел, и правдив.
Холм весны – Тель-Авив,
и воинствен, и миролюбив.
Холм весны – Тель-Авив,
ты от теплого моря прилив.

Холм весны – Тель-Авив –
отзвук вальса на грустный мотив.
Холм весны – Тель-Авив.
вызывает душевный порыв.
Тель-Авив, Тель-Авив –
это город на холме весны.
Тель-Авив, Тель-Авив –
это явь, это явь, это сны...

* * *

Я многих вылечил психически – больных,
Но больше спас психически – здоровых.
А психиатры из блатных
Для КГБ готовили все новых !

* * *

Не слагаются стихи
Не ложатся в рифму строчки
Давят прошлые грехи
Не родился я в сорочке
Техника стихов слаба
Далеко им до приличья
Вьются в голове слова
Будто стая птичья

Лиру в спутницы зову –
Но не отзывается
Я без боли не живу
Да и жизнь кончается
Как хотел бы я взлететь
Крыльями Поэта
И себя преодолеть –
Да вот песня спета.

Кажется, что жизнь легка,
Но зола в камине
Боль стара и глубока
Силы нет в помине
Время стой, ну погоди
Сокращать дистанцию
Маген-Давид впереди –
В прошлом эмиграция.

Генриетта Ляховицкая

КОТЁНОК И МОРЕ

Этюд

Котёнок был совсем маленьким и жил всего несколько дней.

Море было огромным и древним.

Котёнок уютно свернулся в тёплой темноте одежды на груди у человека и мирно дремал.

Море перекатывало огромные валы, мерно и равнодушно разбивая тяжёлые изумрудные водяные глыбы о каменную твердь скалы.

Человек стоял на скале.

Ничего не было слышно, кроме шума прибоя.

Человек смотрел прямо в море. Никогда прежде не приходилось ему видеть такого монолитного, безграничного пространства. Перелески, холмы, зеркальные озера его родного края дробили общую картину на отдельные участки, отвлекали от единства. Здесь же он увидел бесконечность в высоком совершенстве, ошеломившую его.

Море не имело возраста, храня следы тысячелетий. Оно было прекрасно и загадочно. Оно несло людям свои дары и требовало жертв. Множество судеб вобрало оно в себя, поглотив их невозвратно. Отражая бесконечную глубину неба, оно имело своё дно, и разливаясь безбрежно, билось в своих берегах. Море было противоречиво, как всё великое.

Человек стоял долго. Разум его сумел постигнуть сложность и простоту огромного единства, его красоту и силу.

Человек сошёл со скалы на песок. Он достал котёнка и пустил

его на камень. Котёнок подрагивал шкуркой и качался на слабеньких лапках. Едва прозревшие глазёнки бессмысленно уставились в пустоту. И вдруг он увидел громадного зверя, устремившегося прямо на него, многоголосо шурша. Это волна исполняла своё извечное пред-начертание – она неслась разбиваться о берег. Космы пены, страшно изгибаясь, стукнули котёнка тяжёлой холодной каплей по пушистому загривку. И видя перед собой только волну, только эту ничтожную долю огромного целого, котёнок выгнулся напря-жённой, взъе-рошенной дужкой, вытянул жалкий, тоненький хвостик и, зашипев в злобном испуге, бросился прочь.

Человек рассмеялся и взял котёнка на руки.

Разбитая волна лизала ноги человека.

1960г.

ГОРОЖАНИН В ДЕРЕВНЕ ИЛИ ОЖИВЛЕНИЕ ДУШИ

Этюд

Случается, внутренняя жизнь настолько заполняет душу, что уже ничего не замечаешь во вне, делая всё машинально, не откликаясь на зовы мира внешнего. Трудно вырваться из такого самозаточения. Ходишь потерянно по людному городу, прислушиваясь лишь к душе своей, думая только об одном – о безответной любви, или о тяжкой заботе, или о горе своём...

Что может душу оживить, помертвелую душу? Казалось бы, нет таких сил. Но вот, волею случая ли, судьбы, оказываешься в деревне. Даже можно назвать такую – Сомино, под Тихвинным. И месяц можно указать – июль. Не знойный, мягкий, скорее ласковый. Да, пожалуй, именно ласковый.

И начинает обступать мир, необычный для горожанина, неназойливо, но неотступно занимающий взгляд, слух, обоняние – первородные, природные чувства.

Рано утром великолепный петух с серповидным бронзовым пером в хвосте, запрокинув клювастую голову, отягчённую гребнем, поет восход солнца. Волнистый туман, заполнивший каждую впадину и поднявшийся до высоты моста через Соминку, затопил

луга так, что только верхушки копен виднеются из него маленькими островками темноты. Туман этот отступает сперва медленно, а затем неуловимо быстро от расцвеченного зарёй края земли. Небо голубеет. Пронзительная тишина начинает таять от звяканья пустых вёдер, птичьих ссор, приглушённого говора людского, но звуки утреннего селения не могут ещё перекрыть тишину, и она обволакивает, успокаивая и возвышая.

Начинается день. Он заполнен трудом. Длинные борозды пылят, когда вырывает сорняки. Трава держится цепко белыми тонкими корнями. Ноет поясница от низких поклонов земле. Куда лучше сгрести сено – движения широкие, плавные. Полёгшие травы послушно сбегаются под зубцами граблей, ложатся в валки. Из-под просохшего сена вдруг выглянет сочная, будто сейчас срезанная горсть зелени, и станет жаль выволакивать её на солнцепёк, но ритм движений уже установился и не нарушить его подобной жалостью.

Когда стог смётан, луг остаётся чистым причёсанным газоном с редкими выбросами оставшегося в ямках нескошенного, буйно-лохматого травостоя.

На небо уже набежали облака. Вроде бы собирается дождь, однако ветер, пропахший сеном, растаскивает их, играя этими пухлыми белёсыми катышками, гоня их туда-сюда. А совсем наверху, где дуют серьёзные взрослые ветры, наползает большая чёрная гуча. К вечеру небо являет собой картину библейской силы. В одной стороне медленно колышется мрачная чернь, соединяясь с землёй косыми полотнищами дождей. В другой, на божественной голубизне высятся величественные белые облака, пронизанные снизу вверх лучами заходящего солнца. Всё это обрамлено безупречной радугой, которая постепенно превращается в два, а то и три полукружья. Кажется, что видишь созданные гением безмерные декорации, и что сейчас в них разыграется что-то грандиозное.

Дышится глубоко и вольно.

Мимо проходят лошади. Вот они остановились. Жеребёнок прилёг в изысканной позе. Обводы его изящного тела округло-совершенны. Удлинённая голова склонилась к подогнутой ноге, законченной сказочным копытцем.

Небо отражается в реке. Кто-то в высоких резиновых сапогах

ступает по воде у берега и классическими взмахами косы срезает вровень с опрокинутым небом затопленные травы. Брёвна деревянного моста, разогретые за день, смолисто пахнут. Виден зелёный купол белой церкви и тёмная группа деревьев на кладбище.

И вдруг такая радость заливает сердце, губы расплываются в такой детской улыбке, что странно становится – куда ушли все заботы, вся тоска, всё то тягостное, чем жил долгое тёмное время? Почему так легко и свободно?! Какая благодать!

1970г.

ПОДАРОК ДЛЯ ТЁЩИ

Задача была невыполнимой - найти подарок для тёщи, ухитрившейся родиться в новогоднюю ночь. Вы когда-нибудь искали подарок вечером тридцать первого декабря? Не для ребёнка, не для жены, не для приятеля, а для тёщи? У вас какая тёща? Небось, блины печёт для любимого зятя? Моя тёща мне ещё ни разу не улыбнулась. А я слышал, что если хочешь узнать, какой станет твоя жена через двадцать лет, посмотри на тёщу. Неужели моя ненаглядная, добрая, ласковая жена станет таким не улыбочивым сухарём?

Похоже, что я пробормотал всё это вслух, стоя у безнадёжного прилавка магазина подарков и глядя в глаза пластмассового клоуна. Он вдруг поднял длинную руку и сказал:

– На базар беги. Там хорошие подарки бывают. Вот тебе пятак. Он волшебный. В варежку положи.

Рука опустилась и долго болталась на резинке.

На небольшом базарчике было полутемно и почти пусто. За крайним прилавком маячила сгорбленная фигурка, до глаз закутанная в толстый платок. Она не уходила, несмотря на холод, позднее время и редких покупателей. Мне стало жаль старую.

– Полкило осталось, – проговорила она мне навстречу, – за пять копеек отдам.

Пять копеек – не деньги. Я вытряхнул из варежки монету, и в моих руках оказался серый свёрток.

– Подожди, а чего здесь полкило? – обратился я к Платку. Но вместо него, за рядами, висело какое-то облако.

– Чего полкило? – тоненько хихикнуло оно и совсем слилось с темнотой. – Полкило привидения. Только не разворачивай – пропадёт... падёт... уйдёт... – затихло вдали.

Свёрток был мягкий, тёплый и слабо шевелился. На всякий случай я пихнул его за пазуху.

Дома меня встретил новогодний запах, в котором, кроме ёлки и мандаринов, пронюхивался какой-то особый, неизвестный мне и чудный аромат. Жена восторженно шепнула, пробегая из кухни:

– Мама пирог испекла специально для тебя!

“Подарок-то, может, и впрямь волшебный – наперёд действует, до вручения,” – подумал я и бережно положил свёрток на письменный стол за подставку кокетливой ёлочки.

Когда отзвучал двенадцатый по счёту гулкий торжественный “бом”, тёща восхищённо ахнула и бросилась к письменному столу. На нём, прекрасно гармонируя с мандаринами, покачивался на белых лапках весёлый рыжий котёнок.

– всю жизнь... Да, всю жизнь, с самого детства, я мечтала о таком чуде, – тихо приговаривала тёща, прижимая к щеке полкило привидения, – только душевный, чуткий, внимательный человек мог догадаться об этом. Спасибо тебе, спасибо, милый!

Она обернулась ко мне, и я увидел растроганное, доброе и ласковое лицо моей жены в будущем.

1980г.

ХАНУКА – ПРАЗДНИК СВЕТА

Если храм осквернён,
то огонь очистительный надо
возжигать день за днём,
день за днём,
но – одна с чистым маслом лампада...
Так зажечь хоть одну –
воспоследовать может награда,
и достаточно масла окажется в ней,
чтоб светила она много дней,
много дней.

Если мир загрязнён,
то от грязи спасти его надо,
но способна светить день за днём,
день за днём
лишь высокого духа лампада.
Так зажечь хоть её –
воспоследовать может награда,
и достаточно духа окажется в ней,
чтоб горела и ночью и днём
очистительным светлым огнём
столько лет, сколько надо,
чтоб от скверны очистился мир –
этот храм,
предоставленный нам...
Пусть горит негасимого духа лампада!

1998 г.

САВЛАНУТ – ТЕРПЕНИЕ

Чем старше человек, тем дни быстрее,
не только дни, но месяцы бегут.
Становимся с годами мы мудрее
и знаем, что такое савланут.

Ведь савланут – “терпеньё” в переводе –
пускай же годы спины наши гнут,
в еврейском несгибаемом народе
не обойтись без слова савланут.

Судьба нам всем нелёгкая досталась –
скитаний хлеб и непрерывный труд,
но не сломила душу нам усталость –
мы знаем, что такое савланут.

Душой мы остаёмся молодыми,
и трудно нам на месте усидеть...
Пусть головы становятся седыми,
душа у нас не может поседеть.

1998г.

ЕВРЕЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

К празднику Пурим

Библейских красавиц особая статья,
и поступь, и нежность, и сила,
уменье прекрасною матерью статья –
природа им щедро дарила
терпеньё и мудрость, практический ум,
достоинство, верность, сердечность,
способность хранить среди тягостных дум
весёлой улыбки беспечность...
Еврейские женщины не без причин –
на всё есть причины у Бога –
взирают всегда с высоты на мужчин,
сидящих внизу в синагогах.
История всё продолжает свой ход –
народы и страны сметает...
Библейская женщина вечный народ,
как прежде, все вновь созидает.

1999г.

БЕРЛИН – ДЕВЯТОЕ НОЯБРЯ
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОГО

Мне было полгода,
всего-то полгода...
Кто знает,
какая стояла погода
в тот первый
из жизни моей ноябрь,
но мёртвые листья
с деревьев слетали
и скорбными жёлтыми
звёздами пали,
пометив одежды:
“Вниманье – еврей !”
Пристанища веры,
извечно опальной,
громили, зверея,
той ночью “хрустальной”
под звон и под хруст
леденящий стекла.
И тенью кровавою
огненно-чёрной
накрыло весь мир
этой ночью позорной...
Смогу ли поверить,
что ночь истекла ?

Девятое ноября 1998, Берлин.

СУККОТ

“В шалашах живите семь дней...”
Заповедь

Когда-то,
 в дни великого исхода
из рабства –
 из египетской страны
гонимого еврейского народа
ему скитанья были суждены
без крыши, без шатра над головой,
лишь ветви шалашей
 под ветра вой
от непогоды предков укрывали.
И чтобы мы о том не забывали,
нам велено порой жить в шалаше.
Тогда легко и взору, и душе
лететь сквозь ветви
 к небу – выше, выше,
хоть изредка вневременное слышать
и познавать “урок дырявой крыши” –
зависеть лучше нам
 от Бога, от природы,
чем рабски обретаться
 вне свободы.

1998г.

ХЛЕБ СВОБОДЫ

Тысячелетий прорезая тьму
в безгласных недрах памяти еврея
звучит поныне голос Моисея:
“Свободу дай народу моему !”

Диаспоре стал домом чуждый край,
меняются обличья фараона,

и всё звучит, как и во время оно:
“Народу моему свободу дай !”

В дни Пасхи сдобы пышной не приму –
опресноки дошли до нас сквозь годы.
Суров и прост хрустящий хлеб свободы.
Свободу дай народу моему !

1999г.

ПИР ВАЛТАСАРА
перевод с “исторического”

Драгоценные чаши нечистым вином наполняя,
над святыми сосудами храма чужого глумясь,
валтасаровы гости смеялись и пели, не зная,
что с кровавым похмельем уже установлена связь.
“Мéне, мéне...” – стена озаряется страшно. И сразу
под неведомой твёрдой и неумолимой рукой –
“ текел” и “уфарсим” завершают таинственно фразу.
Кончен пир. И теряет правитель и сон, и покой.
Иудей Даниил раскрывает той фразы значенье –
предрекает она гибель царства, плененье и смерть.
Лишь пророкам и смелость от Бога дана, и умение
предсказать властелину грядущую гибель посметь.
Всё исчислено, взвешено всё на весах неподкупных,
истончается скверною Жизни непрочная нить,
и “Отрезано !” – вдруг прозвучит на часах совокупных –
и ничто бытие в суете не сумеет продлить.

1999 г.

ПУЛЬС ИСТОРИИ

Тысячелетьями, а не веками
Восток и Запад тянутся друг к другу –
туда, где стрелкой, обращённой к Югу,
Израиль вклинен меж материками,

когда-то бывшими единым целым.
Связует он два мира и два моря,
с самой судьбою непрерывно споря,
пульсируя всем невеликим телом.
И не один тиран уже погиб там,
и вечность там сжимается шагренью
с библейских давних пор, когда мигренью
залёг Израиль на виске Египта.
И в сердцевине Иерусалима
сошлись в раздорах языки и веры
в извечных поисках добра и меры.
Но жажда эта так неутолима...

1999 г.

АД ЗЕМНОЙ

...И наконец очистилась Земля,
прозрачными повсюду стали воды,
утрами в небесах прекрасная заря
светилась детской улыбкою природы,
и буйствовала зелень изумрудно
в разросшихся тропических лесах,
богатства в недрах залежали рудно,
и лишь роса напоминала о слезах,
и сочетаясь с этой чистотой
повсюду красота торжествовала...

Никто не любовался красотой,
поскольку человечества не стало.

1999 г.

ДМИТРИЙ ЛЯХОВИЦКИЙ

из Шарля Бодлера

СПЛИН

перевод с французского

Вот дрожащую душу – добычу тоски нестерпимой –
Будто крышкой тяжёлой свинцовое небо накрыло,
И, – печальней, чем ночь, – чёрный день черпаком исполина
С охватившего даль горизонта над нами разлило.

Изменился весь мир, обернувшись сырою темницей,
Где крылом боязливым надежда – летучею мышью,
Трепеща бьёт о стены, где выхода нет, чтоб разбиться
О гнилой потолок и скончаться в зловонном затишьи.

Дождь, как будто решётку гигантской темницы возводит –
Так штрихом исполина на день свои струны кладёт.
Пауки – этот мерзкий, немой, но упорный народец –
свои лёгкие тени в усталых мозгах наших ткёт.

И взрывается колокол вдруг отвратительным воем,
В небеса посылая безмерную ярость свою,
Словно души скитальцев – бездомных, безродных героев,
Что зывают, стеная, так горько в им чуждом краю.

Катафалки немые процессией мрачною, длинною
В измождённой душе проползают. Надежда в слезах –
Побеждённая дикой тоской – той, что мне над главою невинной,
Будто деспот безжалостный, чёрный взвывает свой стяг.

Анна ОСМОНОВСКАЯ

Главы из книжки для детей и взрослых “Петруша”

ПЕТРУША ЧИТАЕТ КНИЖКИ

– Бабушка, почитай сказку, – то и дело просят внучата, когда гостят у меня.

Есть у меня бесценная книжка, толстая, с цветными картинками: “Русские народные сказки”. Моя бабушка читала эти сказки, когда я была маленькой. Потом я читала сказки своим детям. И вот теперь мои внучата тянутся к книжке. Страницы её пожелтели, бумага стала ветхой. Берегу я эту книжку.

– Бабушка, почитай про теремок. Ну, почитай...

Сажусь на диван. Один внучок, прижавшись ко мне с одной стороны, сопит, второй – с другой. На колени, под книжку, как всегда, Петруша лезет. Уляжется поудобней. Тепло ему, мягко. Жмурится, будто дремлет. А сам ушами слегка водит. Кажется, тоже к сказке прислушивается.

Видю однажды: любимая книжка на полу валяется, а кот в неё когтями вцепился.

– Что ты делаешь? – закричала. – Отдай сейчас же! Порвёшь!

Выхватила у него книжку.

И второй раз застала кота с книгой. Но с другой, которую сама читала. Развалился кот на диване и страницы лапой перелистывает.

У меня дурная привычка оставлять недочитанную книгу раскрытой на диване, где я обычно читаю. А для кота диван – любимое место.

Отобрала у кота и эту книгу. А сама думаю: кот-то мой –

любопытный, книжками интересуется. Дала ему в лапы старый толстый журнал с картинками, который хотела было уже выбросить. Да вот пригодился.

– На, Петруша. Этот журнал можешь читать сколько хочешь.

Кот послушался. Стал читать. Он придумал свой, новый, никем ещё не запатентованный способ чтения. Лёжа на боку, листал страницы всеми четырьмя лапами: то медленно, то побыстрее; то туда, то обратно. А то одними лапами туда, а другими обратно. Журнал недовольно шипел и скукоживался в гармошку.

По мере того, как Петруша “вчитывался”, на него напала бешеная весёлость. С выпученными глазами вгрызлся он в края журнала. Лёжа на спине и обнимая его, задними лапами совершал по страницам бег на месте. Лапы мелькали в воздухе. Во все стороны летели бумажные ошметки. Внучата визжали от удовольствия, наблюдая эту забавную сцену. А кот от сосредоточенности не замечал никого. Я вздыхала, ходила по квартире с совком и веником. Пенять было не на кого. Сама же разрешила.

Журнал худел. За несколько дней кот окончательно “дочитал” его. Последние бумажные крошки втянул пылесос. И Петруша загрустил. Он ходил по квартире и не находил себе применения. Мне показалось, будто он присматривается к трёхтомнику сочинений А. С. Пушкина. Книги стояли на полке совсем низко, и я видела, как кот поднимался на задние лапы, вставал на цыпочки и принюхивался к обложкам. От греха подальше переставила книги на верхнюю полку.

– Бабушка, почитай сказку “Волк и семеро козлят”, – попросили внучата.

Я прочитала им сказку, а потом мы ушли на прогулку. А когда вернулись, ахнули. Книжка сказок, оставленная мною по забывчивости на диване, валялась с выдранный картинкой. Зубастый волк был четвертован. Его останки валялись по углам комнаты. Видимо, Петруша посчитал, что волк, обидевший козлят, должен быть наказан.

Вместе с внучатами собрали мы волка “по косточкам”, склеили и отправили назад, в книжку. Хоть он и разбойник, но для книжки – необходим.

БРОДЯГА И БАРБИ

Зашла как-то ко мне по делу соседка с первого этажа, яркая крашенная блондинка с длинными ногтями, острыми, как когти, презрительно посмотрела на обои, свисавшие со стен лохмотьями, и сказала:

– Неправильно вы своего кота воспитываете, а главное, неправильно за ним ухаживаете. Когти у кота отрастают и мешают ему, вот он и стачивает их о стены да о книжки!

В квартире соседки всё блестело, и беспорядок в чужом доме вызывал у неё, по-видимому, внутренний протест. Ушла она, цокая высокими каблуками по ступенькам лестницы, а через пять минут вернулась со щипчиками.

Соседка была специалистом по воспитанию кошек. Сама имела породистую кошку с длинной белоснежной шерстью. Звали кошку “Барби”. Шёрстку Барби соседка каждый день расчёсывала специальной щёткой, купала её с шампунем. Наш Петруша уплетал всё подряд, что ему ни предложишь. А Барби кормили “по науке” и строго по часам.

Соседка принялась “откусывать” щипчиками когти кота. Я смотрела, училась, как нужно делать кошачий маникюр, и вдруг меня неожиданно охватило желание выхватить у соседки щипчики и “отчикать” ими её ярко-красные ногти-когти. Но вместо этого я вдруг “выпала”, совершенно не подумав:

– А давайте познакомим Петрушу с вашей Барби.

Соседка промолчала. Лицо её приняло брезгливое выражение, будто бы ей дали понюхать тухлое яйцо. Видимо, знакомство Барби с моим беспородным приبلудным котом-бродягой не входило в её планы. Барби участвовала в конкурсах кошачьей красоты, получала медали. Её облизывающаяся розовым язычком мордочка мелькала крупным планом на экране телевизора в рекламных заставках. Барби пригласили рекламировать кошачью еду “Wiskas”. Миллионы зрителей любовались этим пушистым очарованьем. Не улыбалась только я, потому что знала другую, скрытую от всех сторону жизни Барби. Проходя мимо дома, частенько видела, как Барби печально смотрит сквозь железную решётку на окне и тоненько жалобно плачет. Нет –нет, мне не показалось. Я видела

слёзы на её глазах. Только через решётку могла Барби видеть солнце, траву, цветы. Её никогда не выпускали на улицу, чтобы, не дай бог, не сдружилась она с дворовыми котами, не набралась у них блох или не подцепила какую-нибудь инфекцию.

Я не сомневалась, что соседка, вернувшись домой дезинфицировала щипчики, которыми прикасалась к Петруше. Мне было обидно за него. Ну и пусть он беспородный. Всё равно он самый добрый, самый умный, самый читающий кот на свете. А Барби, хоть и с маникюром, наверняка, не прочла за всю свою жизнь ни одной книжки.

ПЕТРУША – АКРОБАТ

Однажды возвращаюсь домой и чувствую – за полчаса моего отсутствия что-то случилось. Тишина, необъяснимая, настораживающая.

Обычно ко мне со всех ног с радостным криком бежит кот Петруша. Он требует, чтобы его взяли на руки. Соскучился.

– Отстань. Нашёл время, – отмахиваюсь я.

Но от Петруши отвязаться непросто. Он обиженно отходит в сторону, смотрит прицеливающимся взглядом. Разбег ... и взлетает на моё плечо, цепляясь за одежду. Кофта моя вся в зацепках, с оборванными нитками, а я – в царапинах. Этот здоровенный нахал катается на мне по квартире, как на верховой лошади. Ворчу, но терплю. Потому что люблю Петрушу, а Петруша любит меня. Мурлыкает на ухо. И эта его песенка – признание в любви. Я верю, животное обманывать не умеет.

Сегодня же – тишина необычная. Прошлась по квартире, заглянула во все укромные уголки. Где же Петруша? Как сквозь землю провалился.

В кухне немного приоткрыто окно для проветривания. Тепло, весна. Но не мог же кот спрыгнуть вниз с шестого этажа. А вдруг... Склонность к акробатическим трюкам есть в Петрушином характере. Спрыгнул же он с высокого шкафа с антресолю на дворника.

Дворник, он же и электромонтёр, зашёл к нам починить

электропроводку. Он сердито шикнул на кота, сидящего у него на пути. Рыжие торчащие усы дворника, недовольный взгляд, громадные ботинки испугали Петрушу. Кот сиганул на шкаф. Выяснив неисправность, дворник ушёл за лестницей. А когда вернулся и проходил мимо шкафа, согнувшись под тяжестью лестницы, кот совершил меткий прыжок. Наверняка, Петруша хорошо помнил враждебность дворника, ещё с тех времён, когда был дворовым котом. Он проехался с выпущенными когтями по гладкой лысине дворника, как по ледяной горке, спрыгнул на пол и скрылся за диваном.

Где же кот? Выглядываю из окна во двор.

– Дима! – кричу, что есть силы, увидев соседского мальчика, гонящего с друзьями мяч, – ты случайно не видел, кот мой из окна не выпрыгнул?

Дима, задрав голову, как-то странно посмотрел, ничего не ответил и погнал мяч дальше. Должно быть, решил, что у меня “поехала крыша”, или подумал, что я пошутила.

Нет-нет, прыжок с такой высоты – это исключено. Кот разбился бы в лепёшку. Дима и другие мальчишки это событие не заметить бы не смогли.

Вдруг слышу тихое жалобное “мяу”. Совсем близко, но непонятно откуда. Распахнула окно пошире, перегнулась через подоконник и вижу: сидит Петруша на балконе нижнего пятого этажа. Этот балкон как раз под моим кухонным окном находится. То ли кот свалился, то ли решив прогуляться, спрыгнул. Загадка.. Об этом ведь у Петруши не спросишь. А самое вероятное, погнался он за пролетающей мимо птицей и угодил на чужой балкон.

Он отозвался на мой зов. Задрал голову. Кричит. А в глазах – мольба о спасении.

Бросилась я вниз по лестнице, стучу в нижнюю квартиру: “Откройте, откройте”! Чуть приоткрылась дверь, но другая, соседняя.

– Что вы барабаните? – недовольно проворчала сухонькая старушка, чуть показавшаяся из-за двери. Никого там нет. Хозяйка в деревню уехала. Приходите в конце лета.

Как “в конце лета”, мелькнула у меня мысль, ведь лето ещё и не начиналось!

Мне нужно было немедленно рассказать кому-нибудь о

случившемся и, может быть, получить совет. Но едва я начала говорить, старушка захлопнула дверь, а я так и осталась стоять с открытым ртом.

Спустя мгновение я побежала, прыгая через ступеньку, наверх, в свою квартиру. Меня обогнал кричащий, стучащий, визжащий лифт. Он остановился на шестом этаже. Оттуда выбежали разбурявшиеся внучата. Их привезла мама, моя дочь, чтобы оставить до вечера. Мама спешила на работу, нажала кнопку лифта и уехала вниз. А внучата помчались в квартиру.

Теперь мне было с кем поделиться, было кому рассказать о том, что произошло.

Внучата увидели своего любимца Петрушу, попавшего в беду, и расстроились: младшенький – заплакал, старшенький – приуныл.

– Не расстраивайтесь, – говорю, – сейчас что-нибудь придумаем.

А сама не знаю, что и делать.

Вспомнила, что когда была ещё маленькой девочкой и жила в родительском доме, был у нас серенький котик. Бабушка котика отправляла гулять в плетёной корзинке, к которой была привязана верёвка. Бабушка опускала корзинку с балкона нашего второго этажа. Котик, нагулявшись, залезал на берёзу, росшую у дома, и, заглядывая в окошко, мяукал. Он сообщал, что прогулка закончена. Убедившись, что его заметили, мчался к корзинке, запрыгивал в неё, и бабушка поднимала корзинку с котиком наверх.

Вспомнив эту историю, я достала из кладовки большую корзинку, привязала в ручке верёвку, на дно положила сосиску и опустила корзинку к Петруше. Надеюсь на то, что Петруша залезет в корзинку и, пока будет расправляться с сосиской, я его вместе с корзинкой возвращу домой.

Но надежды мои не оправдались. Петруша опрокинул корзинку, она была слишком лёгкой, и сожрал сосиску.

– Петруша, полезай, полезай в корзинку! – кричат внучата.

Кот облизывается и вверх смотрит: не спустится ли к нему, как “манна с неба”, ещё что-нибудь вкусненькое.

Решила я эксперимент повторить. Опустила в корзинку вторую сосиску. Верёвку сверху натягиваю, чтобы кот корзинку вновь не опрокинул... А он ловко сосиску лапой “выудил”, подцепив её когтями, и сожрал. А в корзинку не полез.

Рассердилась я. Сосиски были внучатам на обед припасены, а достались коту.

- Бабушка, давай службу спасения вызовем, вертолёт или подъёмный кран, – говорит старшенький.

И откуда он всё это знает?

- Хорошая идея – сказала я. Но подумав, вздохнула и добавила:

- Не получится. Это дорого стоит, а у меня от пенсии денег осталось совсем немного. Но ничего, не переживайте. У меня есть план спасения Петруши.

- Бабушка, расскажи какой план? – пристали внучата.

- Пока не расскажу. Сами увидите.

А Петруша тем временем, на сытый желудок, потерял всякий интерес к общению с нами, развалился на прогретом солнцем кафельном полу балкона и задремал. Под обстрелом бумажными шариками, устроенным ему внучатами, слегка дёргался, встряхивал головой и, не открывая глаз, продолжал млеть от приятного весеннего тепла.

Сходила я с внучатами в магазин, купила рыбы на обед, поджарила, накормила детей. А одного жирного окуня жарить не стала, отложила в сторону.

Через пару часов кот подал голос. Приближалось время его обеда, и он стал налаживать с нами дипломатические отношения.

- Бабушка, дай Петруше окуня, он есть просит, – говорят внучата.

- Не получит он никакого окуня, – отвечаю я.

Кот стал носиться по балкону с задранной головой и орать, не переставая.

- Бабушка, дай Петруше рыбку. Он очень проголодался.

- Не дам.

Ещё через час кот повалился на пол, закрыл глаза и вытянул лапы! Должно быть, выбился из сил, а может изобразил голодный обморок.

- Пора, – сказала я внучатам, положила на дно корзины большую чугунную сковородку и опустила отяжелевшую корзину на балкон к Петруше. Теперь уж опрокинуть её коту никак не удастся. Затем, проткнув заготовленного окуня, привязала его к прочной тесёмке, опустила вниз и стукнула им по носу кота.

Что тут началось!... Обморок прошёл у Петруши мгновенно.

Он вскочил, как будто его ошпарили, и заорал не кошачьим голосом. Глаза засверкали хищным блеском.

А я тотчас дёрнула рыбу вверх и затрясла над корзиной. Кот заюлил вокруг корзины, стал карабкаться по её стенке вверх. Глаз с рыбы не спускает. Наконец, влез на корзину и стал бегать по бортам корзины на носочках, балансируя, то и дело теряя равновесие. Цирк настоящий. Внучата хлопают в ладоши, кричат, визжат, подают Петруше советы. А я шлепну его окунем по морде и тотчас повыше отдёрну.

Ухватился кот за ручку корзины, встал на задние лапы, тянется к рыбине, злится, передняя лапа с выпущенными когтями в воздухе мелькает. Наконец, удалось ему вцепиться в окуня когтями и зубами мёртвой хваткой. Повис кот в воздухе. Рыбина с тесёмки сорвалась, и Петруша с окунем в зубах плюхнулся на дно корзины, прямо на сковородку.

А мне только это и нужно было. Стала я осторожно корзину с котом вверх тянуть. Тяжело. Внучата помогают. А Петруша в корзине ужинает: аппетитно чавкает и угрожающе урчит, будто бы кто-то окуня у него отнять собирается.

Как раз к концу подъёма закончил он ужин. Из корзины показалась довольная, облизывающаяся морда.

Какой трогательной была встреча! С объятиями, ласками, мурлыканьем. Счастливые внучата Петрушу затискали, а затем посадили в полиэтиленовую сумку с ручками, и начался очередной сеанс подготовки кота к полёту в космос, так называемая “центрифуга”. Сумку с котом раскручивали с громадной скоростью – вверх, вниз, в стороны. На крутых поворотах, сумка подвывала самыми жуткими кошачьими руладами. Не знаю чего в них было больше – страха или восторга. Я думаю, всё же восторга! Потому что, когда дети забыли про кота и занялись рисованием, он самостоятельно, без принуждения, опять залез в сумку, брошенную детьми, устроился там и затих, отходя от всех треволений минувшего дня. Из сумки торчал, слегка вздрагивая, пушистый кончик его хвоста.

Анжелла Подольская

ЯВРЕЙ

Саша не знал матери. Она умерла во время родов. Растила его Сима, мамина сестра. Он так её и называл: Сима. Сима любила Сашу и жалела его. Иногда, правда, сердилась на него, когда он бывал непослушным или долго болел, а ей на работу надо.

Тогда она оставляла на стуле возле его кровати два блюдца с таблетками. Затем долго объясняла ему, не понимавшему в часовых стрелках, что, когда большая стрелка будет вот тут, а малая здесь – он должен выпить таблетки из первого блюдца, когда стрелки доберутся вот сюда – из второго, ну, а потом она уже вернётся с работы.

– Не шали, – наставляла она. – Помни, на сковороде котлеты и картошка – поешь. И пей чаще – чай в банке.

Она оставляла ему книжки с картинками, и уже выходя из квартиры, говорила:

– К окну не подходи, там дует. И не бойся. Поиграешь, поспишь и я скоро приду.

Он не боялся. Наоборот. Ему было уютно. Он даже любил болеть, особенно, когда на улице зима, снег, ветер, а он в постели и ему тепло. И в детский сад тогда идти не нужно. Не любил он этого. Не было у него там друзей, а взрослые – такие противные, “то” нельзя, “это”. За детьми приходили папы и мамы, за ним – Сима, иногда – её подруга. Дети спрашивали:

– Почему за тобой только мама приходит? У тебя нет папы?

Папа у Саши был, только он его почти не знал. Однажды, когда

Саша тяжело болел, пришёл какой-то дядя и пил чай на кухне с Симой и её подружкой. После его ухода Сима сказала подружке: Вот жлоб, сыну ничего не принёс. Ему не жаль внимания, если оно ничего не стоит. Говорила я Аллочке, не выходи за него. Просила, не оставляй ребёнка, вытрави... Не послушала... И полгода не прошло, другую завёл. К тому же оправданице придумал: “Против физиологии, Сима, не попрёшь. И, возьми к себе мальчишку. Зачем ему с мачехой-то жить? А я платить буду”. Да кто ж ему Сашку отдал бы? – Сима заплакала. – Хорошо, что мама до Аллочкиной смерти не дожила. Она бы этого не вынесла – у неё ведь большое сердце было.

Саша лежал в комнате и жалел, что не разглядел дядю. Это ведь его папа был. Он всё понял. А Сима говорила, что у него нет папы. Вот он завтра её спросит – зачем врала?

Назавтра Сима рано его разбудила, и впихнув в него бутерброд, потащила в детский сад. Потом он забыл спросить. Он часто разглядывал фотографии, висевшие на стене. Две тётки – мама и бабушка. Бабушка нравилась ему больше, она смотрела на него с улыбкой. А мама Алла – хмурая, на Симу похожа. Он любил книжки и в четыре года сам научился читать.

– Мой вундеркиндик, – восторгалась Сима. – В шесть лет отдам тебя в школу. Обязательно.

– Что это, школа? – спрашивал он.

– Это, как садик, только спать днём не нужно, и ещё там ставят отметки.

– Не хочу в школу, не хочу. И в сад не пойду больше. Я тебя дома ждать буду.

– Не выдумывай, – взвизгивала Сима. – Не будешь меня слушаться, в интернат сдам.

Саша надувался и в кармане скручивал Симе фигу. “Вот тебе”. А заодно и её подружке, когда та говорила: “Сдай его, Сима, сдай. Может тогда ты замуж выйдешь”.

– А... всё равно! – отвечала та. – Теперь порядочные женщины не нужны. Никому не интересно, что ты собой представляешь как личность. Главное, чтобы у женщины ноги от плечей росли, ну и родители богатенькие были. У нас – ни того, ни другого. Так? Вот и будем мы с Сашкой век коротать. Да, Саш? И она начинала его

обнимать и целовать, приговаривая: «Ты мой единственный маленький мужчина. И нам никто не нужен. Никто, никто, правда?»

Саша ничего не понимал из Симиного монолога и вырывался из её объятий.

Когда ему исполнилось пять лет, Сима повела его на балет в оперный театр. – “Жизель”, мой самый любимый, – объявила она.

Саше в театре понравилось. Кресла – мягкие, удобные. Он всё крутился, поглаживая бархат.

– Сиди спокойно, – шептала Сима. – Тебе не интересно? Слышишь, какая музыка?

– Интересно, – тоже шептал Саша. – Сима, а эти тётки порядочные? У них ведь ноги от плечей растут?

Сима непонимающе зашипела на него:

– Тихо. Замолчи сейчас же.

Когда они вышли из театра, она сказала:

– Я тебе подарок хотела сделать. А ты... бездушный какой-то. Весь в отца.

Тогда Саша вспомнил и закричал:

– А ты врунья, врунья. Есть у меня папа. Я его люблю. Он лучше тебя. Отведи меня к папе.

Сима прижала его к себе и сказала:

– Прости меня. Пойдём.

Они зашли в кафе-кондитерскую. В кошельке оставалась трёшка до зарплаты. Ничего, она одолжит у кого-нибудь.

– Выбери себе пирожное и сок, – сказала она.

Саша выбрал целых три и сок. Такие вкусные, он никогда таких не ел. Всё котлеты да котлеты...

– А мы придём сюда ещё? – спросил Саша.

– Придём. Я думаю, что раз в неделю, нет... раз в месяц, мы можем себе это позволить, – сказала она.

Дома всем играм Саша предпочитал книги. Однажды Сима принесла ему “Конструктор”. Сначала ему было интересно собирать разные нехитрые конструкции, потом надоело и он вернулся к книгам.

– Ты – мальчишка. Ты должен развивать в себе технические способности. Хочешь стать инженером, когда вырастешь? – спра-

шивала она. – Нет, – отвечал он. – Я кардиналом хочу. Ришелье. – Что? – изумлялась она. – Сумасшедший.

Каждый год, во время отпуска, они ездили к морю, по путёвке или “дикарём”. Когда Саше исполнилось шесть лет, ей не дали летом отпуск. Она попросила о встрече Сашиного отца.

Когда он пришёл, Саша встретил и рассмотрел его.

– Ну, что, растёшь, пацан? Молодец! – сказал тот.

Они снова пили чай на кухне, отправив в комнату Сашу, который прислушивался к их разговору.

– Я никогда ни о чём тебя не просила. У меня отпуск в декабре, а ребёнка перед школой оздоровить нужно. Отправь его к своим в село, – попросила она.

– Сто раз тебе говорил, не село это – посёлок, – обиженно ответил он.

– Какая разница, пусть посёлок. Но там – Южный Буг, дом у них свой, сад. Хотя бы раз внука повидать могут, – не унималась Сима.

– Ладно. Посмотрим. Спишусь с родителями, – согласился он.

– Только не тяни, август “на носу”, – напомнила она.

Через неделю дядя-папа пришёл опять.

– Старики согласны. Уболтал. Но его ведь отвезти надо. Повезёшь? Я не смогу, – сообщил он.

– Я тоже не смогу. Ничего, я посажу его здесь в поезд. Только, пожалуйста, пусть встретят его там.

Ещё через неделю Саша ехал в Винницу. Он был горд собой. От внимания попутчиков, которым поручила его Сима, отказался. Он не маленький. Едет к дедушке и бабушке. Там речка и огород – вот здорово. Он немного волновался – узнают ли его дедушка с бабушкой? Ещё он скучал по Симе, никогда ведь не расставался с ней прежде. Ничего, это ненадолго – всего три недели. Очнулся он, когда поезд стоял и кто-то тряс его за плечо:

– Ну, то ты – Сашка?

Перед ним стоял маленький, полный и какой-то розовощёкий старичок.

– А я – дед Марьян. Пойдем, что ли? Нам ще на автобус поспеть надо.

Они направились к автобусной остановке. В автобусе было много людей, жарко, Сашу разморило и он захотел спать.

- Не спи, - сказал дед Марьян. - Уже скоро Брацлав, - нам выходить.

Они вышли из автобуса на какой-то площади, где были церковь и базарные лотки. Пошли вниз по немощённой улице, по обеим сторонам которой стояли дома среди садов. Было очень красиво, и воздух доносил аромат яблок.

- Марьян, шо, новый дачник? - окликнул кто-то деда.

- Да, так, - отмахнулся тот. - А вот, мы и вдома. Заходи, хлопец, - и распахнул перед Сашей калитку в большой красивый двор.

- Миля, Миля! - позвал он.

Из-за дома вышла тётя, тоже какая-то розовая, с крашеными волосами, но помоложе деда Марьяна. Он подтолкнул Сашу к ней:

- То - баба Миля. Поздоровкайся.

- Здравствуйте, - робко сказал Саша.

- А ты, Сашка? Приехал? Ну, якої ты? Ой, худющый! Яблука хочешь? Вона, в миске - антоновка. Покоштуй - пахучая... В этом годе вродила, а в тому не було. И на следушый не будет. Она через год на второй родит, понял?

Саша понял, но яблоко взять постеснялся, хотя очень хотелось. Баба Миля завела его за дом, где была пристройка.

- Спать здесь будешь, з нами. У нас в доме дачники. И пид ногами у них не крутыся. В огород сходы, нарвы паречки. А то - беги скупайся. Уныз по улице речка.

В это время во двор вошли люди, тётя и дяди. Дачники, наверное, догадался Саша.

- О, Марьян Васильевич, день добрый! Не виделись с Вами с утра. Водичка, скажу я Вам, сегодня теплая. А как клевало ночью? Успешно? Миличка Миколаевна, осталась рыбка? Продадите к обеду?

- А чоґо ж не продать? Зосталось ишо, - подтвердила она.

- А это кто? - указывая на Сашу, спросил кто-то.

- То, внук прїехал, - ответил дед Марьян.

- Так у вас и внук есть? А в прошлом году внучка с невесткой отдыхали.

- Так, це ж от той, от яврейки. - сообщила баба Миля

- А... - как-то жалостливо протянул дачник.

Саша выскочил за калитку и побежал вниз по улице. Речка. На берегу было много людей, и на него никто не обратил внимания.

Вот будет тут сидеть и не пойдёт к этой злой бабе Миле. А то, и в воду прыгнет и утонет. Назло ей – будет тогда знать. Сима ей все её крашенные волосы повывирает – так ей и надо. Увидев подхлотившего к нему деда Марьяна, Саша хотел вскочить и убежать, но не успел. Дед Марьян взял его за руку и усадил рядом с собой на камень.

– Ты чогу убёг? Рассерчал? Не сердися, баба Миля тилькы с выду сердитая. Може скупнёшься? Чы домой пойдём? С дороги ж, видать, прытомывся та й голодный?

Саша согласно кивнул головой. Едва вошли во двор, баба Миля накинулась:

– Ты шо це? Я т-те побегаю! Отвечай потом за нёго. Ты дывыся – ураз до тётки видправлю! Ну-ка, руки мый та пид навес сидай – вечерять.

Из казанка она разлила дышащий паром, словно живой, ярко-бордовый борщ с кусками мяса.

– Йж, та хлиб чесноком потры, потры! Не вмеешь? Вона як, смотри! Вкусно? Ото ж! Чым тебе матери твоеи сестра кормит, га?

– Ну, чогу? Чогу до парня привъязалася? – огрызнулся дед Марьян.

– А тебе не спросылы, старый! И усё отым явреям очкастым знать треба: хто да шо, да звидки. Ото не пуш-шу их на следушый год, нехай у других сымают. А то, усё – здесь. И рыбки им, та з огорода усё. Не пуш-шу.

– Ты йж, йж. – подмигнул Саше дед Марьян. – Слухай! Виддохнёшь трошкы, а як солнце зайде, то на рыбалку зи мною, згода?

День был тёплый. Чистый. После еды Сашу разморило и он уснул. А дед Марьян разбудил его, как обещал:

– Айда?

– Айда. – ответил Саша.

Ты, того, – сказал дед Марьян, – вденься, бо на реке вночи холодае.

Взяв удочки, банку с червячками и немного яблок, пошли к реке. Справа от пляжа, где Саша побывал днём, был лодочный причал. У деда Марьяна бала небольшая лодка, в которую они

забрались. Потом дед долго грёб и остановил лодку посреди реки, бросив груз. Южный Буг – большой, широкий, и не речка, а река, подумал Саша. Саше было интересно, как клюёт. Он радовался, потом заскучал, у него начали слипаться глаза.

– Ты, давай! Спы. – сказал дед Марьян. – Тилькы телогрейку кынь на ноги. Спы, спы.

Разбудил его дед, когда уже светало и лодка была у берега.

– Бачыш, скильки наловылы? Караси, а этот з вусамы – то сом. Остальные – мелочёвка, плотва. Ну, пойдём. А то, твоя баба Миля нас заругает. А як поспыш, поснидаем, то у лис сходим – орехов наберём, лещину. Ты любыш лещину?

– Дед Марьян, а что это, яврей? – спросил Саша.

Удивлённо посмотрев на Сашу, дед сказал:

– Ну, то парень, нация така. Я, вот, к примеру – поляк. А баба Миля – украинка. Мать твоя еврейкой була. Вот.

– Это плохо, яврей? – опять переспросил Саша.

– Ну, не пагано. Почему пагано? Ну, й не дуже добре. А ты запамьятав, так? Ты не серчай. Баба Миля, вона на язык гострая. А так – то нет. И, дывыся: ты ж не взаправду еврей? Ты – трошки и поляк, трошки украинець. Так шо усе – гаразд.

– А... – вздохнул Саша. – Дед Марьян, а сколько мне ночей ещё тут спать, как я домой поеду?

– Уже заскучав? Быстро. Ну, пойдём.

Когда они вошли во двор, в доме и пристройке было тихо. Только в огороде пел сверчок.

Проснувшись около полудня, Саша записал на листочке: “один” – один день в деревне. Ничего особенного. А дед Марьян хороший. Лучше, чем его папа. Выйдя во двор, он прошмыгнул мимо бабы Миля.

– Стий! Куды? – окликнула она.

– На речку, – глядя исподлобья, ответил Саша.

– Йди. Скупныся и сразу щоб назад.

Саша подбежав к реке сразу прыгнул в воду.

– Ох... Хорошо.

– Мальчик, мальчик! Что ты разбрызгался? Где твоя мама? Не заплывай – там глубоко. – сказала какая-то тётя.

Немного в стороне, в воде резвились мальчишки. Они его не позвали. Ну, и не надо. Зато, он с дедом Марьяном за орехами сейчас пойдет.

В лесу было интересно, только немного душно. Они набрали орехов и шиповника. А шиповник колючий, Саша исцарапал себе руки.

– То не страшно, – говорил дед Марьян, – он пользительный. Заварымо тебе кружку – запах... И косточки твои уси расправляться. Сыльным будэщ, большим.

Вечером они снова отправились на рыбалку. В эту ночь Саша уже не спал. Дед доверил ему удочку, и Саша не отрывал от неё глаз. Дед учил:

– Ты держы йии нижно, “одном” пальцем, не давы дуже.

Говорили они шёпотом, “щоб рыбка не спугалась”. Под утро ведро опять было полным. Баба Миля жарила рыбу каждый день. Саша полюбил и научился её есть. Он стал отличать вкус одной от другой, но больше всего любил сладких и хрустящих карасиков, которых сам ловил. Незаметно пролетели три недели, он привык к деду Марьяну, а тот к нему. Уезжать уже не хотелось.

– Приидеш на следушый год, чы не? Чы, може, тоби баба Миля не вгодыла? – донимала его баба Миля, прощаясь.

– Приеду. – буркнул он.

– Ото й добре. Та й нехай твоя Сима з тобою йиде. Скажы, що баба Миля прыглашала.

Когда дед Марьян посадил его в поезд, обнял его.

– Ото тоби яблочков на дорогу и пирожкы из вышнямы – баба Миля напекла. Ты не думай. Вона до тебе по-доброму. Тилькы з выду суровая. Прыизжай. Приидеш?

– Приеду. А вы, дедушка, приедете ко мне? Я скучать буду.

– Прииду, сынок, прииду. Он поцеловал Сашу и вышел из вагона.

Когда поезд тронулся, он замахал рукой и Саша ещё долго видел

его широкополюй бриль.

Встречала его Сима.

– Сашка, ну и вырос же! Загорел как! А я костюм тебе для школы купила, вдруг мал будет?

Костюм оказался впору. В углу, у окна стоял новый письменный стол и на нём всё для школы. Саша не подошёл к нему. Он стоял у фотографии матери.

– Сашка, вымой руки! Обедать будем. – сказала из кухни Сима.

– Она яврейка? – тихо спросил он.

– Что? – не расслышала Сима.

– Яврейка, яврейка она? – крикнул он.

Сима остановилась на пороге, ошарашенная его вопросом.

– Она яврейка. И ты яврейка. Ты хотела, чтобы она меня отравила. – заплакал он.

– Что ты несёшь? – спросила Сима бледнея.

– Ты, ты говорила, чтобы она меня выравила. И я не буду носить очки. Никогда. Я не настоящий яврей. Я ещё немного поляк, немного украинец. Поняла?

Сима, подойдя, обняла его.

– Сашенька, мальчик мой! Ну, что ты? Твоя мама была хорошая, очень. И тебя любила. А я... Я же не знала, что ты такой у нас будешь.

– Какой? – сквозь слёзы спросил Саша.

– А вот такой, замечательный мальчик. Будущий кардинал Ришелье. Да? – спросила она.

МОЯ УЛИЦА

Пришло и прошло лето. Но ещё в конце сентября стояла тёплая погода. Приехав после длительного перерыва, я захватила с собой дождь и сырость с берегов Шпре на берега Днепра.

Едва опомнившись от дружеских объятий и тридцатидвух-часовой болтанки в поезде, я поехала на свидание с улицей моей юности. Малая Житомирская. Милая, родная Малая Житомирская, средняя из лучей, берущих начало на площади Независимости, некогда площади Калинина, а совсем ранее Думской. Улицы, как

люди. Меняли имена, приспособливались, но часто возвращались к своим истокам. Малая Житомирская также не избежала этой участи.

Я подолгу стою перед каждым домом, который что-то зацепил в моей памяти. Стою, то пытаюсь сосредоточиться и запомнить это мгновение, зная, что потом, в своих воспоминаниях буду возвращаться к нему. То, вспомнив нечто смешное, смеюсь, и прохожие, недоуменно оглядываясь, пожимают плечами. А я улыбаюсь и плачу, но слёзы остаются внутри, а на лице я пытаюсь сохранить лицо.

Вот баня. Центральная городская баня. Возможна ли в городе негородская?

Когда появились отдельные квартиры с ванными, бани не боя отдали им пальму первенства. Ещё и сейчас есть люди, предпочитающие баню. Это своего рода ритуал. А в те, не такие уж далёкие времена, когда отдельных ванн у нас не было, каждую неделю за двадцать копеек получали мы свой шкафчик, тазик и воду в нашей, почти домашней, бане. Разденешься, вещи в шкафчике сложишь, и в моечную. Там, сквозь пар, как в тумане, как в замедленном танце, проступали и двигались тела, худые и толстые, красивые и не очень, получая свою долю чистоты и удовольствия.

Как на этой улице всё понятно, узнаваемо.

Чуть повыше бани, в первом этаже окна зарешечены. Видимо, офис. А прежде здесь жил Лазарь – краснодеревщик, кустарь-одиночка. И жил здесь и работал. Лазарь мог любую мебель сделать, либо отреставрировать. Дверь в его однокомнатном чулане-мастерской никогда не запиралась. А проходя под его окном, можно было услышать стон тесака. При этом, он всегда напевал. Текст песни был немногословен и не менялся столько лет, сколько Лазарь жил на нашей улице. Из окна доносилось: “Полюбил карьтошьки, карьтошьки немношьки, каврядский жюк.... Полюбил карьтошьки, карьтошьки немношьки, каврядский жюк.” И так снова и снова, из года в год...

Напротив, на другой стороне улицы, в глубине двора жил Лёня, слесарь - газовщик из нашего ЖЭК-а, по кличке Лёнька- Газ, или просто Трёшка. Однажды, много лет спустя, когда мы уже не жили на нашей улице, я встретила в городе мужчину. Он был вальяжен, доволен собой, весь какой-то добротный, в прекрасной дубленке,

которую в те времена нужно было суметь достать. Впрочем, Лёнька -Газ мог всё. Да, это был именно он. Однако... каков. Ничего общего с тем, двадцатилетней давности, Газом. Скользнув по мне взглядом, он отвёл взор. Не узнал или не захотел узнать. Знакомые черты не позволили мне пройти мимо, я стояла и смотрела, но не подошла к нему. Что я сказала бы ему? Что я Вас помню, Вы – Лёня-Газ, сшибавший с нас бесконечные трёшки? Неловко было.

Иду дальше по улице, вверх. Улица гористая, правда, не из самых крутых в городе. Дохожу до винного магазинчика в полуподвале, где когда-то была сапожная мастерская. Одного из сапожников звали Изей.

Изя был красив, как Бог, одевался, как денди. Он был похож на Омара Шарифа в молодости, вернее тот на Изю был похож. Когда Изя шёл по Крещатику, за ним вечно, словно шлейф, увязывалась толпа

женщин, думая, что он актёр или иностранец, по крайней мере. Однажды к моей матери пришла взволнованная приятельница и сказала:

– Анна, да что же это ? Идя к тебе, я туфли для ремонта захватила. Зашла в сапожную напротив и, вдруг, выходит этот, ну помнишь, я тебе о нём рассказывала? Каждую ночь мне снился. А он – сапожник, простой сапожник.

– Такой уж и простой? – рассмеялась в ответ мама. – Не думаю. Кстати, о нем забудь. У него жена – Фридошка. Они живут чуть ниже по улице. Если узнает, что он тебе снится, я тебе не завидую.

Как-то, когда мне было около шестнадцати, я занесла в сапожную туфли. Изя знал меня и всегда провожал каким-то влажным взглядом от которого мне было не по себе. Взяв туфли, Изя сказал:

– Козочка, зайди в половине седьмого, туфельки будут готовы. Я поставлю такие набоички, что все подружки будут завидовать. Ты не ходить – летать будешь.

– Ведь мастерская открыта до шести? – спросила я.

– Лучшим людям мы делаем “сегодня на вчера”. Зайди, не пожалеешь.

Я зашла на следующий день, когда работал его напарник. С тех

пор, встречая меня на улице, Изя провожал меня хмурым взглядом.

Напротив винного магазинчика дом, в котором я родилась. Коммунальная квартира, семь семей, семь комнат, тридцать два человека. На кухне, единственной, десяти метров, было втиснуто три плиты и семь крошечных столиков. Даже не столиков, скорее тумбочек. В квартире один туалет, к которому каждое утро выстраивалась длинная очередь. Причем каждый в этой очереди со своим сиденьем для унитаза. У каждой семьи своя лампочка в туалете, на кухне, в коридоре. Как ни странно, но жили относительно дружно. Населяли квартиру люди разного происхождения, возраста, разнообразных интересов и профессий. Самой старой, какого-то запредельного возраста, была баба Харита. Ей тогда было восемьдесят четыре, но бегала она быстрее всех. Прозвали её Информбюро, за то, что всегда знала, что и где можно было купить. Самыми младшими были я и Серёжа, с которым мы дружили “с пелёнок”. Тётя Вера, Серёжина мама, звала меня “невисточкою”. Часто взрослые, поддразнивая нас, говорили: “Серёга, вона ж погана, нашо вона тобі?” На что Серёжка огрызался: “Ни, гарна, гарна. Вона дуже ловка”. Когда мы подросли, Серёжка влюбился в известную киевскую певицу Эльгу Аренс, жившую в бельэтаже, в единственной отдельной квартире нашего дома. Простаивая под её окнами, он караулил её ночные возвращения с очередным поклонником. Эльгин муж отшучивался перед соседями: “Эльгины поклонники так и падают, так и падают штабелями, едва успеваю их поднимать”. Тётя Вера, обливаясь слезами, кричала на всю улицу, что старая б... приворожила её сына, годившегося ей в сыновья. Вскоре Серёжу забрали в армию, откуда он, благополучно отслужив три года, вернулся с молоденькой женой. Тети Верины страхи были напрасными.

В нашем доме, немного выше моего парадного, был маленький магазинчик. Я долго стою перед тем, что прежде было магазинчиком, заглядывая за спущенные жалюзи. Пытаюсь отгадать, что тут теперь. Магазинчик этот был знаменит на всю округу. “У Перчика”, так прозвал его народ. Своего рода Елисейевский. Магазин был маленький, более четырёх покупателей не вмещал. Но с какой теплотой всех обслуживал здесь единственный продавец, он же директор, по фамилии Перчик. “Ой, у Перчика сегодня изумительная

селёдка”, или “Вы знаете, Перчик чудную халву завёз”, или “У Перчика масло, вологодское. Везде дают по полкило, а он – сколько хочешь”, или ... Невозможно припомнить все “или”. Перчика можно было попросить обо всём: “Товарищ Перчик, войдите в наше положение – отдаём замуж нашу девочку, а магазины пусты...” И Перчик доставал, добывал. Маленький, на коротковатых ножках, лысоватый, всегда улыбающийся, доброжелательный ко всем и к каждому. А вот в этом доме жила моя учительница музыки, Феня Юльевна. Как жаль, что мама не сумела преодолеть моё нежелание серьёзно учиться музыке. Приятели родителей, приходя к нам в гости, обычно подшучивали: “Детка, сыграй эту “новую” вещичку, ну, ты знаешь, полонез Огинского”. И несколько лет подряд, периодически, я играла им полонез. Сейчас, стоя под окнами Фени Юльевны, прислушиваюсь: окна молчат, не звучат гаммы, не слышно этюдов Шуберта. Прошло столько лет... Поднимаюсь выше по улице: вот она и заканчивается двумя скверами, расположенными по обе её стороны, сквером, где фонтан и сквером, где качели. Скверы, превращавшиеся когда-то в зимнее время в снежные горки, и заполнявшиеся детворой, хохотом и визгом саней. Упирается улица в печально-знаменитый дом по улице Владимирской, сохранивший прежнее название, ставшее нарицательным: Короленко 15, где расположен МВД, а некогда ГПУ, гестапо. Ну что ж! На улице, как и в семье, не без уroda.

И тут – нечаянная радость. Взору открывается Софиевский Собор, София, как по – домашнему звали мы его, где прошло детство, где гуляли с нами наши няни, куда часто сбегали мы из школы, расположенной рядом. Стоя наверху на своей улице, я люблю Софию, её золототканой мозаикой. И я снова чувствую себя школьницей, сидящей под столетним дубом парка внутри Софии, в её святой тишине. А она, София, также молода и прекрасна, как тысячу лет назад

* * *

Как мне порой комфортно быть одной,
Не утруждать себя ненужными словами,
Бессмысленной, пустою болтовнёй -
Наедине хочу остаться со стихами.

Вдохнуть поглубже аромат лесной
И прикоснуться к бересте губами,
Чтоб, насладившись этой тишиной,
Всю праздность ощутить вечерними часами.

Вот лошадей ведут на водопой,
И танца их загадочные знаки
Вдруг опьянят живительной волной,
В душе рассеют мучившие страхи.

Судьба ведёт. Она щадит порой.
Узлы её распутывать не стоит.
Природе-матери внимать одной,
И сердце этим успокоить.

* * *

Устала от вопросов без ответов,
От бесконечных “отчего” и “почему”.
Зачем опять сменило зиму лето?
Как прежде, нет покоя сердцу моему?

Зачем жемчужный и блестящий иней
Накрыл собой ещё зелёную листву?
Зачем душа осталась в Палестине?
Зачем поныне всё ещё тобой живу?

Зачем сродни мне тополь под окном?
Откуда начинается исход?
А мысли всё мне шепчут о былом,
В причудливый сплетаясь хоровод.

* * *

Природа вдруг сошла с ума,
И за окном цветут метели.
В душе моей ещё зима,
А на дворе – конец апреля.

В хранимых мною адресах
Есть миг – и радость, и сомненье.
Слепящей правды голоса,
И отрешённость, и прозреньё.

Пространство чувств, пустот, длиннот,
И сжаты судьбы без предела.
Погоды зимней длинный счёт.
Душа моя заледенела.

ЛЮБОВЬ

Ты – кипящих вулканов жар
И прохлада тенистого сада.
Ты – дурманящий душу угар
И запретный плод и награда.

Ты – наркотик, и Рай, и Ад,
И пьянящий глоток свободы.
Ты – мой страх и волнующий взгляд,
Аромат душистого мёда.

Но познавший Тебя – слепец,
Ты – болезнь, и радость, и боли,
Божий промысел, наконец,
Ты – блаженства мираж – не боле.

Я – фон, я – оттепель,
Листочек на ветру.
Я – камешек у придорожного ручья.
Придёшь – все краски светом оттеню.
Уйдёшь – замёрзну я.
Воротишься опять – и я растаю.
Ты, как колодец страждущим в пустыне.
Опять уходишь – снова опадаю
Ненужным пеплом от лучины.

Дмитрий Рублев

* * *

Я видел ребёнка в социаламте.
У него был маленький ключик.
Этим ключиком он открывал все сердца
и кидал в них пригоршни счастья.
Он с таким удивленьем
Изучал угрюмого панка,
что тот расплылся в смущённой улыбке.
У толстого серба в поношенной кожаной куртке
Уползли морщины со лба
и пришло в порядок давленье.
Двое влюблённых, всё поняв и без слов,
лишь плотнее прижались друг к другу.
И только у женщины в сером
дрожали губы,
когда я взглянул на неё украдкой.

О как я завидую детям.

Ребёнок с улыбкой творца сидел на полу.
Его руки, послушные воле его
Бесформенный хаос превращали в загадочный мир,
какого ещё не бывало.
И ребёнок смеялся,
когда по лиловой равнине
помчались, забавно петляя
красно-зелёные звери,
а в дремучих лесах, ослепительно синего цвета
расселись по веткам громадные птицы.
И ребёнок смеялся,
а я глядел на него и отчетливо видел,
как мильоны столетий назад
молодой и радостный Бог
вот так же сидел перед морем частиц и молекул
и улыбался идеям своим.

НАБРОСОК

В кофейне “Aus den Rahmen”
Ничто не выходит за рамки
приличья.
Дигитальные ритмы джаза,
дигитальная “тумбалалайка”.
За “тумбалалайкой” –
широченных размеров Сережа с гитарой.
Хозяйка сидит за стойкою бара.
Сережа не дигитален.
Это приятно.
Сплошным кошмаром для немецкого уха
шипит со стены название супа:
Borschtsch.
С коротеньким интервалом

входят торговцы цветами:
“Купите для дамы розу”.
Я покупаю... Для дамы?
Не знаю. Отдам-ка Сереже.
Пусть заработает марку бедняга торговец.
Они, я слышал бангладешцы.
Не знаю. Быть может. Быть может.
Уходят... Приходят опять...
И опять исчезают за дверью.
Хозяйка у бара. Устала.
От гама. От дыма.
Начало второго. Пора бы уже закрываться.
Минуты проходят, как торговцы цветами
Мимо.
Сережа замолк, заработав на рубль овец.
Но что это – русский характер,
а может – примета века?
Почти что не видимы в сигаретном удушливом смоге,
два незнакомых друг другу еще человека,
сидят – и гляди ж ты – рассуждают полночи о Боге.

* * *

Хорошо, что закончилось лето,
Что в снега драпируется осень.
Пусть глаза отдыхают от цвета
Под шатрами разлапистых сосен.

И от инея сизые травы
Замолчали под ветками бука,
И меня зазывают дубравы
Совершенным отсутствием звука.

Неподвижны суровые выси.
Все спокойно и капельку грустно.
Здесь рождаются мудрые мысли
Здесь становятся добрыми чувства.

Приходи на безмолвное вече.
Приходи и внимательно слушай,
И тоска по гармонии вечной
Полоснет беззащитную душу.

* * *

Уйти в снега по колее.
Сбежать, исчезнуть, раствориться,
Стать небом, елью, горлом птицы,
Поющей в предрассветной мгле.

Лететь бураном по земле,
Поземкой по полю змеится,
И тихо к западу склониться,
Растаять углями в золе.

Понять простую мощь стихий,
Вложить ее в дела, в стихи,
Уйти, не взяв с собой поклажи

Уйти, не тратя лишних слов.
Смиренно все начать с азов
И стать самим собой однажды.

Альфред Ходорковский

О ЧЕМ МОЛИЛСЯ МОЙ ДЕД

Откровенно говоря, я уже не могу отчетливо представить себе внешность моего деда. Помню только, что роста он был небольшого. Все остальное – неопределенно, расплывчато. И если бы мне пришлось написать его портрет, то я бы сделал это весьма приблизительно. Наверное, многие из нас, взглянув на этот портрет, могли бы сказать: “Это мой дед”. Но то, что в довоенную пору случайно отпечаталось в моей детской памяти, сейчас проявляется так ощутимо, как будто это было только вчера.

...Деревянное крыльцо с двух ступеньках, за дверью – небольшой узкий коридор, из него – вход в комнату с одним окном, которое на ночь закрывалось покосившимися ставнями. Слева от дверей – буфет из темного дерева с узорчатыми стеклами в дверцах, железная кровать с блестящими шарами на спинках, у другой стены – кушетка, посредине, как водится, стол. За этим столом в полном ритуальном облачении, обмотав руку и лоб молитвенными ремнями, сидит над книгой мой дед. Он не отводит глаз от пожелтевших страниц, изредка переворачивая их, и постоянно что-то бормочет, ритмично кланяясь всем корпусом. Что скрывалось за этим бормотанием я, конечно, не знал. Но то, что мой дед, сидя над книгой, что-то бормочет, казалось мне чем-то таинственным и в то же время забавным. Я тоже пробовал бормотать, но у меня ничего, кроме обычного “бу-бу”, не получалось. Бабушка всеми

своими морщинками хитро улыбалась, глядя на мои безуспешные попытки подражать деду. И вот теперь, много лет спустя, когда я сам подержал в руках молитвенник и могу пропеть “Барху эт Адонай хамеворах”, я снова вспоминаю своих стариков. И мне как-то не по себе от бессилия, от того, что я не могу вернуться в то время и изменить что-то в их судьбе.

...Война застала их в той же скромной квартирке на Кузнечной улице. И все случилось так, как у многих других. Как ехать? Куда ехать? Не было ни сил, ни возможностей бежать от внезапно свалившейся беды. Да еще утешали себя надеждой: немцы ведь тоже люди, кому мы, старики, нужны... Но и они, видимо, кому-то понадобились. Деда заставили возить бочкой воду в столовую, а потом еще пырнули штыком в живот неизвестно за какую провинность.

И сейчас, вспоминая об этом, я думаю: о чем же в тот последний их вечер молился мой дед, о чем просил он Б-га.

И снова передо мной эта комната и дед, сидящий над молитвенником. На столе тускло догорает субботняя свеча. За спиной деда, прислонившись к стене, неподвижно сидит на кушетке бабушка и вслушивается в его бормотание. А дед, придерживая пораненный живот, продолжает усердно молиться. Завтра их уведут туда, откуда они уже никогда не вернуться...

И вот теперь, когда я прихожу в синагогу и слушаю нашего кантора, мне снова слышится загадочное “бу-бу”. Я вслушиваюсь и явственно слышу голос деда, глуховатый и монотонный. Завороженный этим ощущением, я теряю чувство времени, как будто не было этих шести десятков лет, и сегодня эта молитва звучит точно так же, как и в то далекое время, заключая в себе неугасимую надежду на спасение.

АНТОНИХА

Ну и вредная же эта Антониха! Сколько вьедливости в ней, сколько ехидства, не приведи Господь! Всякого заденет, мимо не пройдет. А уж если кого невзлюбит, то пощады не жди: привселюдно осудит, ничего не простит. Недаром люди “за глаза” называют ее Трезвониха, намекая на ее склонность распускать

слухи и сплетни по всему селу. А в глаза кто ж ее так назовет? Самому, пожалуй, хуже будет. И даже безобидная Настенька Нерода, молодая ее соседка, не избежала злой участи: и ей она спуска не дает. А то как же! Нерода – она и должна быть неродой, уверена Антониха. А эта девка уже с дитем ходит, неизвестно от кого. Попользовался, видно, какой-то проходимец, а кто теперь ее такую возьмет, с приплодом. При родителях-то еще такая недотрога была, все книжечки читала, романы всякие. Антониха еще тогда говорила: “Не будет толку от девки. Книжками себе голову забивает, а об жизни не думает”. И точно, как в воду глядела. Года не прошло после материнной смерти, а уже понесла. Мария терялась в догадках: кто же это нашу тихоню-то соблазнил. Никого из местных парней или, не дай Бог, женатых мужиков у Настиного подворья не видела. И на тебе – сына родила. И тоже, как всегда, тихо и незаметно. Как будто бы в лавку за покупками сходила. И уже носится с ним. Антониха не преминула разобраться: “Ну, поздравляю, соседка! Сподобил тебя Господь. Теперь и книжки почитать некогда будет”, – посочувствовала она не без ехидства. И тут же спросила: “Чей он?” – надеясь удовлетворить свое неутоленное любопытство. “Мой!” – спокойно ответила Настя и пошла своей дорогой. Задетая таким ответом за живое, Антониха не могла успокоиться: “Видали? Нос еще кверху дерет. Гордая какая! Святой представляется. Знаем мы таких!” Она никак не могла сдержать распиравшего ее душу возмущения: “Слыхали? Соседушка моя, Настька Нерода, того уже, с прибавлением. И угораздило же ее! Вот срам-то!” – щедро делилась она новостью с каждым встречным и поперечным. А с кем же еще ей, вдовой, было поделиться? Сына нет. Вот уж полгода как в армию ушел. Но письма пишет, интересуется, что в селе нового, как дела у родичей и соседей. Во! Как раз об этом она ему и напишет. Пусть знает о Настином позоре. Сын у Марии – материна радость. Умный, работающий. Такой родную мать не опозорит, в срам не введет. Хоть, почитай, сама растила, но завидного парня вырастила. Жив был бы Степан, радовался бы. И она вспомнила свою молодость, знакомство со своим будущим мужем Антоненко Степаном. Ему тогда лет семнадцать было. Худющий да высокий. Из соседнего села родом. Под немцем уже третий год жили. Ее-то они не трогали: мала еще была. А Степана хотели в Германию угнать на работы. Вот он и прятался по соседству, у тетки своей. А как наши пришли в сорок

четвертом, ему как раз восемнадцать стукнуло. И взяли его в армию. Обещала она ждать солдата и дождалась. Вернулся Степа с войны, хоть и контуженный, но живой. Поженились они. Дружно жили, грех жаловаться. А как сын родился, радовались, как дети. Но незаметно беда пришла: стал Степан хворать. С легкими у него что-то случилось. Кашлял по ночам, спать не мог. Рассказывал, как контуженный, целые сутки на земле сырой пролежал, пока санитары не подобрали. Вот откуда беда пришла. Что ни делала Мария, ничего не помогло: и отварами поила, и собачьим жиром кормила. Все напрасно. И осталась она вдовой. Всю любовь свою, что двум предназначалась, сыну отдала. И Бог ее за это вознаграждал. Степа, царство ему небесное, тоже гордился бы сыночком.

Эти мысли успокоили Марию, и забыла она о своей соседке, о ее позоре, о своем теперешнем одиночестве.

Прошло какое-то время. Антониха не упускала случая уязвить Настю, для виду прикрываясь сочувственными словами: “Бедная ты, бедная. И рук сменить некому. Одна-одинешенька. Вон у других и муж поможет, да и свекровь – не чужой человек тоже. А то как же. Ох, грехи наши, грехи ...” На что Настя невозмутимо отвечала: “Ничего, тетя Маша. Справляюсь я. Не переживайте.”

Однажды, на следующий после такой встречи день, принесла почтальонша Марии письмо от сына. Теплая волна окатила ее сердце. Она быстренько смахнула крошки со стола, уселась поудобней и стала читать:

“Здравствуйте, мама. Спасибо за подробное письмо и добрые пожелания Ваши. Хочу Вам, мама, сообщить радостную весть: теперь я уже не просто солдат срочной службы, а отец, а Вы, значит, бабушка”.

– Что такое? – не поняла Антониха, прервав чтение. Какой отец? Какая бабушка? – Сердце ее учащенно забилося в предчувствии непрощеной беды. И она стала торопливо читать дальше:

“Как только отслужу, так сразу же свадьбу сыграем, чтоб все было как положено. Как мы с Настенькой сговорились, сына она Степаном назвала в честь отца моего. Напишите, каким он Вам показался, наш сынок, и на кого похож”.

И тут у Марии руки опустились. Так вот чей сын у Нероды родился. А она-то ... И, почитай, первый раз после смерти мужа горько заплакала. От обиды ли на сына, от своей ли вины, что так

получилось – сама, собственноручно свою же невестку на все село ославила, а может, от радости, что есть у нее внук, названный именем покойного мужа, кровинушка родная... Мария и сама не могла толком ответить на этот вопрос. Впопыхах накинув на плечи платок и прихватив недочитанное письмо, скользя по таявшему под ранним весенним солнцем снегу и спотыкаясь на проталинах, поспешила она к соседке. С трудом перебираясь через высокий перелаз, сокрушенно шептала: “Ох, грехи наши, грехи!...”

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Традиция у нас такая – праздники только в семейном кругу отмечать. А тут вдруг женушка моя заявляет: “Знаешь, Левушка, зови-ка ты приятелей своих. День Победы все-таки, памятная дата. Хватит вам в скверике скамейки просиживать”. Ну я, конечно, возражать не стал и позвал мужиков в гости. Все пришли с женами. Правда, Ефим Файнберг, вдовец, без своей подруги пришел. Видно, в незнакомую компанию идти постеснялась. После третьей рюмки языки наши развязались, и вспомнили мы о давнем и недавнем прошлом: о войне прошедшей, о том, как в Германию выбирались и как память наша – эта совестливая злодейка – отчаянно сопротивлялась и протестовала, и сколько ночей бесконечных терзала нас горькими раздумьями бессонница, пока не остались за спиной эти зловеще-полосатые пограничные шлагбаумы ... Словом, обо всем переговорили и не забыли, конечно, о нашей несчастной родине. При этом страсти разгорелись нешуточные. Каждый предлагал свои рецепты спасения. А питерский старожил Семен, ярый сторонник московского мэра, так расхотелся, что пригрозил бывшему киевлянину Илье и всей Украине в целом немедленно перекрыть газовые трубы за захват Черноморского флота, Севастополя и всего Крымского полуострова. На что Илья, скрывая насмешку, спокойно ответил:

– А мне-то что. Можешь перекрывать. У нас на кухне электропечь стоит.

Тут уж никто не мог сдержаться, и все дружно захохотали. Один

только Файнберг остался безучастным, думая о чем-то своем.

– А ты чего молчишь? – начал его тормошить все тот же задиристый Илья. Он обычно не упускал случая подшутить над безобидным вдовцом. А с тех пор, как тот нашел себе подругу, с дотошностью следователя допытывался:

– Ну, Фима, скажи: как она тебе как женщина? Ефим старался не обращать внимания на подначки надоедливго приятеля, но от Ильи отвязаться было непросто.

– Ты снова ходишь один, – пристал он к Ефиму. – Тебя что – подруга бросила? Так я тебе завтра же найду другую!

– Отстань! – досадливо отмахнулся Файнберг. – Все у тебя шуточки. Не до того мне.

– А! – подхватился Илья. – Теперь мне все понятно. Любовь у него трещину дала. Вот в чем дело!

– Прекрати, Илья. Не надо ... – вмешался кто-то из женщин. – А если полюбил человек ...

– Какая там любовь! Выдумки все это! Одна природа! И больше ничего нет! – уперся на своем Илья, забыв о своих шуточках.

– Не скажи! – возразил я. – Есть. А если хочешь знать, то меня лично эта самая любовь от больших неприятностей, а может, и от самой гибели спасла.

Илья с недоумением взглянул на меня. Он не ожидал возражений. Остальные тоже недоверчиво переглянулись.

– Чего удивляетесь? – говорю. – Так оно и было. А началось, если хотите знать, с самой что ни на есть случайной встречи. Еще в мае сорок второго года закончил я Московскую летную школу, но из-за зрения направили меня не в летное, а в артиллерийское училище. Ну что поделаешь ... Пришлось покориться судьбе. Так оказался я в Костроме. Возвращаюсь как-то из увольнения и вижу: впереди такая себе деревенская старушонка с двумя огромными сумками через плечо топает. Дай, думаю, помогу, если нам по пути. Предложил я ей мою помощь – она охотно вручила мне свой груз. На перекрестке около училища говорю ей: “Ну, мамаша, мне сюда. Извините.” А она: “И мне сюда.” Заходим на территорию училища, и она направляется прямо к квартире начальника штаба, полковника Метелина. Я от неожиданности остановился, а она: “Чего ты, сынок? Заходи!”

Зашли мы в квартиру. Не успел я эти сумки на пол поставить,

как выбегает из соседней комнаты девушка и с криком “Бабуленька!” к старушке прильнула, только коса русая змейкой за ней метнулась. Как увидел я ее, так и прикипел к дверному косяку. Мыслей никаких. Только глаз не могу оторвать. А старушка познакомила меня с внучкой и сесть приглашает. – Не могу, – говорю, – увольнительная кончается. И ушел я.

С тех пор как только после отбоя глаза закрою, так и вижу, как она мне руку свою лодочкой протянула и как посмотрела, смущаясь, своими широко раскрытыми небесно-голубыми глазищами. После этого случая стали мы как бы невзначай встречаться и вскоре поняли оба, что друг без друга жить не можем. А надо сказать, что в училище у нас был установлен такой порядок: один раз в месяц мы заступали в караул и один раз направлялись на хозработы. Однажды разгружали мы полувагоны с комлями. Комли-то мерзлые, тяжелые, разгружать неудобно. Притомились мы и присели отдохнуть. А помкомвзвода, старший сержант Конончук, все подгоняет нас да подгоняет – вставайте, мол, чего расселись. Сам-то он к этим комлям и не притронулся. А я возьми да и скажи: “Ты бы сам потаскал, а потом бы и командовал!” – “Ах ты жидовская твоя морда, мать твою перемать!” – вскипел он. “Вставай, тебе говорю!” – и ногой, как собаку, пнул. Встал я да и врзал ему. Правда, один только раз, но, видно, силы не рассчитал – не удержался он на ногах. Тут и другие подхватились и добавили ему порядком. Оказалось, многим он еще до этого насолил.

Закончилась смена. Пришли мы в казарму. Не успел я койку расстелить, как прибегают за мной из штаба. Короче, шьют мне дело за подстрекательство к коллективной драке и избиение командира. И тут же отправляют меня на гауптвахту при городской комендатуре до рассмотрения дела Военным трибуналом.

Можете представить мое положение. Сижу на гауптвахте, и мрачные мысли меня одолевают. Время тянется медленно. Наконец наступили третьи сутки моего, так сказать, подвешенного состояния. Как раз в этот день наше отделение заступило в караул. По установленному порядку ночью в караульном помещении положено было протопить печи. Предприимчивый Конончук нацедил из машины полную банку бензина и припрятал ее в полутемном коридоре. Для растопки, конечно. В темноте ту банку опрокинули и никакого внимания не обратили. И надо же так

случиться, что от небрежно брошенного кем-то окурка бензин воспламенился. Все караульное помещение мгновенно превратилось в крошечный ад. Вырваться из него было просто невозможно, потому что решетки на окнах были намертво вмурованы в кирпичные стены, а через двери – путь отрезан сплошным огнем. Мой друг Коля Перевалов, пытаясь спастись, бросился бежать через горящий коридор, но через два дня скончался в госпитале от ожогов. В итоге в живых из всего отделения остался сам Конончук с двумя дневальными, да я – на городской гауптвахте. Тут уж Военный трибунал в спешном порядке рассмотрел дело старшего сержанта, как виновника пожара и гибели курсантов, и приговорил его к расстрелу. Вот так! Теперь должна была решаться моя судьба. Как все это происходило, я, честно говоря, не знаю. Но решение было такое: из училища исключить и направить на пересыльный пункт, находившийся тогда под Москвой. Это было, конечно, спасением. Освобождая меня из-под ареста, дежурный офицер сказал: “Ну, Тевлин, скажи спасибо полковнику Метелину. Это он тебя отстоял”. И понял я тогда, кто меня спас. Да и потом, на фронте, в разных переплетах побывать пришлось, но я всегда был уверен, что тот же ангел-хранитель меня бережет. Потому и целым остался.

Я прервал свой рассказ и потянулся за сигаретой. Не спеша, закурил. Гости стали нетерпеливо переглядываться: “А что дальше?” И тогда... – Анечка! – позвал я жену, которая за чем-то на кухню отлучилась. – Иди сюда на минуту. Скажи нам, что ты говорила отцу, когда я на гауптвахте в ожидании трибунала сидел.

Она на мгновение задумалась, слегка прикрыв свои глаза, а затем тихо произнесла: “...Ничего я ему не говорила. Только плакала все время и, кажется, про себя повторяла: мне не жить без него, не жить...”.

И тут все зашумели, задвигались, заговорили.

– Тост! Тост! – закричал неугомонный Илья. И все его поддержали:

– За Аню!

– За ангела-хранителя!

– За любовь! – сказал кто-то.

И мы все, включая Ефима Файнберга, выпили за мою Аню, за ангела-хранителя и, конечно, за любовь.

ПЕРЕВОДЫ

Из Генриха Гейне

* * *

О, не клянись, а только поцелуй,
не верю я нисколько женским клятвам!
Как сладко слово, все же поцелуй –
в ответ на твой – он слаще многократно!
И это так, и в этом нет сомненья,
слова – лишь только ветра дуновенье.

Любимая, клянись же постоянно:
я все же верю всем твоим словам,
я верю, что ты любишь без обмана –
и нет конца блаженным временам.
Я в эту вечность тихо опускаюсь,
когда к твоей груди я приклоняюсь.

ПИСЬМО, ЧТО ТЫ МНЕ НАПИСАЛА

Письмо, что ты мне написала,
меня не растревожило ничуть.
– Любви конец! – как будто ты сказала,
но в чем же этих строчек суть?
Тут дюжина убористых страничек,
такой изящно милый манускрипт.
Подробно так, поверь, никто не пишет,
когда “Прощай навеки!” говорит.

Из Давида Сфарда

ЕСЛИ Я ЗЕМЛЮ ОСТАВЛЮ

Если я землю оставлю, так кто же
ненависть нашу к убийцам проявит?
Кто о тернистых путях и страданиях
нам по-еврейски без страха расскажет?

Кто же измерит всю цепь унижений,
горе отца, материнские муки?
Кто же, скажите, минутами счастья
неизмеримость потери оплатит?

Если уйду я навеки, так кто же
вспомнит о наших безвестных героях,
кто их могилы землю укроет
и сохранит их в грядущие годы?

Если же с песней еврейскою кто-то
цепь золотую ковать не устанет,
чтобы она бесконечно тянулась, –
как я тогда эту землю оставлю?

Из Рахели Корн

У ВОРОТ ГАЗОВОЙ КАМЕРЫ

То была тел людских обнаженность,
сразу ставшая мертвенно бледной.
Что стыдливостью значилось прежде,
счастьем, тайной иль родинкой-меткой,
о которой известно лишь маме,
что любимым одним доверялось, –

солнце светом своим беспощадным
обнажало, как крышкою гроба,
открывало насмешкам и взгляду,
что готовил людей строй за строем
на последний рубеж испытаний.
И детишки, что вмиг повзрослели,
понимали: не будет спасенья,
и они матерей умоляли
крик отчаянья спрятать глубоко,
в сердце страх схоронить, чтоб мучитель,
тот, кто жаждал увидеть их муки,
их страданиями в эти минуты
ни за что бы не мог наслаждаться.

КАКОЕ СЛОВО

Слово какое меня к вам приблизит,
слезы какие дорогу укажут?
Нитями лунными каждую ночью
тянет меня в обители мертвых.

Сколько рассветов прожить суждено мне,
чтобы я вновь ваши муки изведал,
чтобы я стал на последней границе,
как серый камень стоит на могиле.

Из Эдуарда Мерики

ТОСКА ПО РОДИНЕ

С каждым шагом вижу мир чужой,
удаляясь от моей любимой.
Только, сердце, как мне быть с тобой?
Тянешь вспять меня неодолимо.

Солнце здесь не греет так, как там.
Все вокруг мне, право, незнакомо.
Безразличен даже я к цветам ...
Потому ль, что я теперь не дома?
И они у тихого ручья,
и предметы, что вокруг теснятся,
чужды мне. Признаюсь честно я:
мне иные горизонты снятся.
А ручей журча мне говорит:
– Бедный мальчик, что проходишь мимо?
Незабудки украшают вид,
полюбуйся в ясный полдень ими!
Но не так, совсем не так, как там,
здесь цветы по-своему прекрасны ...
Взгляд скользит печально по верхам,
дни бегут и тают понапрасну.

И длинна в бессонной тине ночь.
С глаз долой. Скорей отсюда прочь!

СОКРОВЕННОЕ

Ты отстань, бренный мир, от меня,
не зови: нет в тебе совершенства;
не одаривай, в сети маня,
сердцу дай до последнего дня
испытать горечь мук и блаженство.

Веры нет. Я теряюсь порой.
Снова боль нестерпимая гложет.
Даже солнечный свет голубой
светит мне с поднебесья сквозь слезы.

Часто сам не могу я понять,
как же радость, свой путь пробивая
сквозь ту тяжесть, что давит меня,
мою грудь торжеством наполняет.

Ты отстань, бренный мир, от меня,
не зови : нет в тебе совершенства;
не одаривай, в сети маня,
сердцу дай до последнего дня
испытать горечь мук и блаженство.

МОЛИТВА

О Боже! Приму я любовь и страданье,
довольствуюсь тем, что с небес Ты пошлешь.
Не в том ли основа всего мирозданья,
что связь между ними ты не разорвешь?

Что руки Твои источают благие,
на нас снизойдет как слепая судьба ...
Но память хранит имена дорогие,
и жаждет ответа немая мольба.

Скажи мне, где истина эта сокрыта,
чего же нам больше познать суждено:
любви, что по капелькам в мире разлита,
иль мук, что терзают мне душу давно?

НА РАССВЕТЕ

Мои глаза не освежились сном,
а день уже проснулся за окном.
Но мечется встревоженный мой разум,
сомненьями мучительными связан,
и бродят в нем ночные приведенья,
пока не наступило пробужденье.

Не плачь, душа! Не будет этот страх
держатъ тебя в невидимых руках.
Возрадуйся! Ты слышишь? Там и тут
колокола благие вести шлют.

Из Германа Гессе

В ТУМАНЕ

Странно странствовать в тумане!
Все в тумане одиноки:
куст ли, дерево иль камень –
в мглистом кроются потоке.

Мир мой полон был друзьями,
жизнь казалась мне прекрасной,
но неожиданно между нами.
пал седой туман ненастный.

Мудреца такого нету,
кто б такое не изведal –
я как будто канул в Лету:
позабыт и всеми предан.

Странно странствовать в тумане,
потеряв друзей до срока!
Каждый каждого не знает,
каждый в жизни - одинокий.

Борис Черепашенец

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Сентябрьским вечером в палисаднике около дома сидели как-то четыре старых человека – берлинцы, выходцы из бывшего Советского Союза, эмигранты. Коротали они время за любимым занятием – игрой в карты.

Мимо проходили молодые мужчина и женщина.

«Поглядите, друзья, какая причудливая пара,» – заметил один из играющих. Действительно, смотреть на них было немного смешно. Мужчина – стройный, высокий, белокурый и женщина – низенькая, очень полная, если не сказать толстая, переваливалась с ноги на ногу, как утка. На голове какие-то пегие космы, в зубах сигарета. Узкие леггинсы обтягивали ее мощные бедра и ягодицы. Они держались за руки и, несмотря на явную несовместимость, смотрели друг на друга влюбленными глазами.

«Как ни банальна поговорка – любовь зла, полюбишь и козла, – но другого и не скажешь про этих, мягко говоря, чудаков», – философски заключил другой.

«Согласен – жизнь полна парадоксов,» – задумчиво сказал третий.

«Если позволите, я расскажу вам любопытную историю на эту тему»

Приятели согласились, и старик неторопливо начал:

«Вы же знаете, друзья, что сейчас я один живу в своей квартире. Мне уже неважно убирать ее, ходить за покупками, и что дважды

в неделю ходит ко мне женщина из службы по уходу за одинокими, больными и старыми людьми, и делает эту работу. Дама эта лет около сорока, маленькая, худенькая, крашеная блондинка, с невыразительным лицом, но умными глазами. В Германию она приехала с Украины, так что общаться с ней мне легко, тем более, что оказалась она очень словоохотливой. Жила она там в маленьком городке вблизи Чернобыля и работала учительницей физики и математики в школе.

Естественно, я поинтересовался, каким образом ей, не немке и не еврейке, удалось попасть в Германию. И женщина, зовут ее Александра, Шура, поведала мне о своей судьбе.

Жила она вблизи от печально знаменитой атомной электростанции. Когда произошла катастрофа, она, как и многие вокруг, ничего не знала и, как все, любовалась необычайно красивым заревом над, как потом оказалось, разрушенным реактором. Учительница, тоже работавшая в школе, сказала ей, что, дескать, ходят слухи – на Чернобыль сбросили атомную бомбу, и тогда она, физик, догадалась о том, что там произошло. Катастрофа ее очень обеспокоила, тем более, что в то время она была беременна вторым ребенком. Далее с ней случилось то же, что и с другими жителями зараженной зоны. Она продолжала жить и работать, вслед за вторым ребенком родился третий, дети росли болезненными и хилыми. Затем от рака умерли ее мама и брат, муж бросил ее – уехал в более безопасное место. Словом, дальнейшая перспектива для нее была нерадостной.

Все, что случилось позже, было похоже на сказку.

Однажды к ней зашла знакомая молодая женщина с двумя мужчинами. Знакомая занималась очень модным в те времена промыслом, челночной торговлей. Ездил она, как правило, в Польшу и в Германию. И вот эта женщина попросила Шуру, чтобы та заняла чем-нибудь одного из мужчин. Он, дескать, немец, слова не говорит по-русски, а ей с другим надо срочно заняться какими-то торговыми делами.

На свою беду Шура накануне чем-то отравилась, лежала неприбранная, зеленая, ее все время мутило, сильно болел живот. Не зная, чем занять гостя, и думая, что все немцы беспрерывно пьют кофе, она поила его этим напитком. И так в течение дня выпили они не менее шести чашек. Используя отрывочные знания немецкого

языка, полученные в школе и в институте, Шура, как умела, пыталась поддерживать видимость беседы с иностранцем. Немец, звали его Дитмар, никакого впечатления на Шуру не произвел – был он каким-то неухоженным. На щеках щетина, то ли несколько дней он не брился, то ли бороду отращивает. Сорочка какая-то несвежая, потертые, залатанные джинсы, разношенные кроссовки, неопределенной формы курточка. Не таким ей, в провинциальном украинском городке, представлялись иностранцы.

А уже поздно вечером, часов в одиннадцать, немец постучался в ее квартиру и заявил, что жизни без нее больше не мыслит, что он полюбил ее и готов хоть сейчас на ней жениться и увезти к себе на родину. Ошарашенная этим предложением, Шура попросила Дитмара немедленно уйти, объясняя, что время позднее, дети спят и что ей сейчас не до глупых шуток.

Внимательно слушавшие друзья перебили рассказчика.

«Если позволите, я расскажу вам любопытную историю на эту тему» Все это действительно странно, «Если позволите, я расскажу вам любопытную историю на эту тему» – сказал один из них. «Если верно, что пили они кофе, а не более крепкие напитки, то можно предположить, что немец просто пожалел женщину. Вы ведь знаете, что в русских деревнях в старину слова «жалеть» и «любить» были синонимами, может и у немцев то же самое?»

«Примем это за рабочую гипотезу, но может быть и другая причина. Этот неухоженный, по-видимому обойденный женским вниманием Дитмар, увидев чистую, убранную белыми кружевными салфетками, цветными рушниками квартиру, страстно захотел чисто украинского уюта,» – заметил другой собеседник.

«Глупости все это. Вы, друзья, хоть и живете уже немало лет в Германии, не понимаете немецкого менталитета. Просто прислуга немцу понадобилась. Зная, что иностранки безропотно готовы угождать мужу, в отличие от эмансипированных немок, этот Дитмар решил совершить просто сделку выгодную,» – добавил третий.

«Да нет, все значительно прозаичней, просто-напросто завожила Шура немчика. Очевидно, ведьмы еще не перевелись на свете».

«Не перебивайте меня, немного терпения и послушайте дальше. На чем я остановился? Да, так вот Дитмар сказал, что

полюбил Александру, как говорится, с первого взгляда. Возможно и такое тоже бывает в жизни. Потом он неоднократно, не реже двух раз в месяц, приезжал к Шуре и настойчиво повторял предложение, говоря, что его не пугают ее трое детей, и что он готов их официально усыновить.»

Какое-то время женщина колебалась, но жизнь на Украине становилась все хуже и хуже, здоровье ее и детей тоже ухудшалось, и ради детей, их сытого и здорового будущего, она, наконец, согласилась.

На Украине был заключен брак, и после оформления документов они все вместе приехали в Германию, в Берлин.

Шуриному мужа я видел неоднократно. Это нормальный мужчина, значительно моложе своей жены, ранее неженатый. Одет он всегда очень аккуратно, даже щеголевато. К Шуре и к приемным детям, двум девочкам и мальчику, он относится замечательно. Три года назад у четы родился общий ребенок, мальчик Маркус – любимец и отрада всего семейства. Мать и бабушка Дитмара прекрасно относятся к невестке, что в общем-то не характерно для Германии, очень часто бывают у нее, советуются с ней. В общем полная идиллия, в духе святочных рассказов.

Живет эта большая семья очень дружно. Муж работает. Шура зарабатывает тем, что помогает больным и старым людям. Кроме того, ежедневно она по вечерам в течение трех часов убирает в начальной школе. А это двенадцать учебных классов, два туалета и еще служебные помещения. Но эту работу Александра умудряется делать за час. Секрет прост, вместе с ней школу убирают – муж, после своей основной работы, и двое старших детей.

Это, кстати, к вопросу о жене-прислуге. Не думаю, что человек, вздумавший жениться на украинке для того, чтобы получить бессловесную рабыню, будет собственноручно чистить унитазы в школьном туалете вместе с женой.

У семьи есть микроавтобус «Форд», на котором они по выходным дням выезжают за город, на природу. В отпуск свой, они, как правило, все вшестером на машине, загруженной продуктами и подарками, отправляются на Украину, где у Шуры осталась еще куча родичей и знакомых.

И когда я в очередной раз вижу это необычную пару, всегда поражаюсь внешним несоответствием супругов и тем мастерством,

с которым эта, повторяю, невидная хрупкая женщина ведет свой дом, сколько сил физических и душевных прилагает она для поддержания прочности и благополучия семьи.

Рассказчик умолк, и четверо мужчин долго сидели и о чем-то думали, не глядя друг на друга. Осенние сумерки давно уже сменила теплая ночь. Уже и в окнах домов только еще кое-где был свет. Берлинцы засыпают рано, рабочий день у них наступает задолго до рассвета.

Спустя некоторое время один из них с грустью заметил: «Да, как видно, в отношениях женщины и мужчины имеется столько необъяснимых секретов и тайн, что нам, старикам, проживи мы хоть двести лет, никогда их не разгадать.»

«Да что мы, грешные, – заключил рассказчик. – «Ученые мужи уже тысячелетия пытаются решить эту проблему, написали на эту тему горы книг, но тайна остается тайной».

ПИАНИНО

В сорок пятом году, после окончания военных действий на советско-германском фронте, наша дивизия ушла из занятого Кенигсберга и расквартировалась в городе Сувалки на северо-востоке Польши, ожидая подачи эшелонов для возвращения на родину. С дивизионным батальоном связи в город прибыл и молоденький лейтенант Володя Рихтер.

В то время его начальником был человек лет около сорока, грузный и малообразованный подполковник, с несколько необычной фамилией Левочка.

Володю он с самого начала службы невзлюбил и придирался к нему по всякому поводу и без повода. Так иногда бывает в закрытых учебных заведениях, где вдруг, ни с того ни с сего, воспитатель возненавидит какого-то воспитанника, то ли заику, то ли длинноносого, то ли какого-нибудь лопухого, и безнаказанно терзает его постоянно. Примерно таким было отношение Левочки к лейтенанту.

Многократно он, зачастую без всякой надобности, по злобе, именно Рихтера посылал на смертельно опасные участки. И когда,

логике вопреки, Володя, всегда теряя убитыми и ранеными своих солдат, выходил оттуда без единой царапины, подполковник, с трудом скрывая огорчение, качал головой: – Везунчик ты, лейтенант. Не иначе как в рубашке родился.

Когда же в руки ему попадали документы на представление Володи к награде или к присвоению очередного воинского звания, Левочка неизменно вычеркивал его фамилию, приговаривая:

«Ничего и так обойдется, счастливирик обрезанный. Пускай его иудейский бог награждает.»

Однажды, уже в Сувалках, подполковник вызвал Володю и приказал:

«Возьми, лейтенант, парочку солдат, машину, поезжай в Восточную Пруссию и достань мне там пианино.»

Рихтер был ошарашен приказом. Какого дьявола, подумал он, понадобилось тебе еще и пианино, ты ведь и так прибахлился в Германии. Будешь уезжать, полвагона набьешь, небось, своими вещами.

Уж очень не по душе была лейтенанту эта операция, тем более, что он с приятелем собрался вечером заглянуть в небольшой кабачок. Накануне они перемигнулись там с двумя молоденькими голе-настенскими официантками и надеялись приятно провести время.

Володя вообще не мог без чувства омерзения наблюдать случаи грабежа местного населения и насилия над немецкими женщинами и девочками, при чем иногда такими маленькими, что ничего женского-то в их облике и не было.

Но делать нечего, приказ надо выполнять, и лейтенант с солдатами отправились на поиски музыкального инструмента.

Объезжая городок за городком по безлюдной местности – немцы были изгнаны на запад, за Одер, они ничего подходящего найти не смогли. Во всех домах все, что можно было взять, было уже взято, а то, что еще оставалось, было безжалостно разбито и изгажено. Впечатление было такое, что по округе Мамай прошел.

Наконец ближе к вечеру, группа обнаружила в одном из домов, на третьем этаже, светло-желтое пианино. Убедившись, что звук в нем есть, солдаты с трудом, по узким лестничным пролетам, вытащили инструмент на улицу, поставили перед подъездом и решили перекурить.

К ним подошли два поляка в шапках-конфедератках, на правых рукавах их пиджаков были какие-то цветные повязки.

«Что вы тут делаете?» – спросили они.

«Ослепли что ли, не видите, эту штуковину грузить сейчас будем,» – ответил один из солдат.

«Мы просим вас, уважаемые паны, оставить пианино на месте. Это польская территория и все имущество, находящееся на ней, принадлежит народной Польше.»

Оказалось, что они и слыхом не слыхали, что наш великий и мудрый вождь, неизвестно из каких соображений, недавно отдал две трети Восточной Пруссии полякам.

«Да пошли вы куда подальше,» – послали солдаты, как оказалось впоследствии, польских полицейских.

«Мы будем жаловаться пану Рокоссовскому, он поляк, он нас поддерживает.»

Итак, возник международный конфликт, и стороны предъявили свои аргументы. С польской стороны – два револьвера системы «Наган», с советской – пистолет «ТТ» у лейтенанта, карабин у водителя и два автомата у солдат.

Убедившись, что советские аргументы весомее, поляки удалились, громко понося проклятых москалей, этих исконных недругов Речи Посполитой.

Когда инструмент был привезен и показан подполковнику, тот брезгливо фыркнул:

«Ты что припер, лейтенант? Что это за цвет такой? Почему не черного цвета».

«Ах ты, подлюга! Цвет его, видите, его не устраивает, в магазине мы его что ли выбирали,» – подумал про себя Володя.

Подошедшие офицеры стали успокаивать недовольного подполковника:

«Напрасно ты, Левочка, капризничаешь. Хороший колер, типичный цвет детского поноса.»

Надо заметить, что офицеры, непосредственно не подчиненные ему, никогда не называли его ни по имени, ни по званию. а только Левочка. Левочка офицерской подначки не понял, но успокоился.

Через несколько дней эшелон был подан под погрузку, и Левочка приказал опять же Рихтеру:

«Погрузи пианино на платформу вместе с техникой, да зама-

скируй хорошенько, чтобы инструмент не бросался в глаза».

«Ну теперь-то я хоть в какой-то мере отыграюсь за все обиды,» – подумал Володя и попросил солдат накрыть пианино таким образом, чтобы в пути осадки и ветер не пощадили груз.

Эшелон две недели плелся через Восточную Польшу, всю Белоруссию, север Украины и наконец прибыл на станцию назначения. В пути было все: и ветер, и дожди, и грозы, и даже небольшой силы ураган. И когда при разгрузке прикоснулись к пианино, то все, кроме металлической рамы, тотчас же рассыпалось. Солдаты тщательно, до последней щепочки собрали то, что раньше называлось музыкальным инструментом, аккуратно сложили все в кучу и доложили:

«Получите ваше пианино, товарищ подполковник!»

Побелевший как полотно Левочка на какое-то время лишился дара речи и только спустя некоторое время подозвал Володю и зашипел:

«Взгляни, твоя работа, лейтенант?»

«Да, жалко имущества, но вы сами подумайте – дальняя дорога, стихия, дожди, ураган.»

«Ах. как это типично для твоего проклятого народца, подло, исподтишка навредить.»

И тут Володю прорвало. Он как-то сразу потерял качества, приобретенные долгой армейской службой: дисциплину, нелегкое умение подчиняться вышестоящему и командовать подчиненными, выдержку, чувство субординации.

«А для твоего – грабить, насильничать, издеваться и травить подчиненных.»

Тут Левочка заверещал, как поросенок, которого режут:

– Смирно! Забываешься, лейтенант, извольте обращаться на вы, по званию и со словом «товарищ»!

– Какой ты мне, сукин сын, «товарищ»?

И плюнув ему в ненавистную физиономию и не по-уставному повернувшись, Рихтер пошел прочь. Уж очень он его разозлил, ему как-то сразу вдруг вспомнились все обиды, все несправедливости, пережитые за годы общения с этим подлецом.

Но отойдя и поостыв, Рихтер пожалел о своем поступке.

«Зря я, очевидно, погорячился. Чего ради я перед этой свиньей бисер принялся рассыпать.. Разве эту дубину чем-нибудь прой-

мешь? А, впрочем, что он может теперь сделать? Разжаловать не может, таких прав у него нет. Ну на гауптвахту посадит, но это можно перетерпеть. У него у самого грехов полный мешок, и если дело дойдет до официального разбирательства, то я все выложу,» – подумал Володя.

Но все осталось без последствий, шума трусливый Левочка, очевидно, не поднимал.

А вскоре дивизию расформировали, всех офицеров раскидали по разным воинским частям и, к счастью, с Левочкой больше в жизни встречаться Рихтеру не довелось.

Хотя, надо сказать, что еще много-много лет спустя стоило Володе вспомнить Левочку, как в глазах у него темнело и злоба, закипая в груди, душила горло.

РАССТРЕЛ

В конце мая сорок второго года, ранним утром, молодой лейтенант Ефим Браверман прибыл по направлению, после окончания военного училища связи, в одну из частей Волховского фронта.

Представившись командиру дивизионного батальона связи, интеллигентного вида пожилому капитану, он услышал:

«Очевидно еще не завтракали, лейтенант?»

«Так точно, товарищ капитан.»

«Ну идите к повару, поешьте сначала, какой разговор на голодный желудок?»

Впервые сытно поев после полугодного тылового рациона, изрядно повеселевший Ефим вернулся к командиру.

Тот, довольно подробно расспросив новичка и узнав, чему он выучился в училище, предложил ему сходу командование взводом радиосвязи. Как раз незадолго до прибытия Ефима батальон получил новые американские малогабаритные полевые радиостанции.

«Ознакомьтесь, лейтенант, с технической документацией. Она на русском языке. Вам надлежит обучить солдат-радистов пользоваться этими станциями как можно быстрее,» – командовал командир батальона.

Затем он коротко рассказал Ефиму об оперативной обстановке.

Оказалось, что дивизия уже много недель подряд вела бои, безуспешно пытаясь деблокировать агонизирующие остатки Второй ударной армии, попавшей в окружение еще в конце февраля.

К слову сказать, через неделю командующий ею генерал Власов, убоявшись сталинского гнева и предчувствуя конец своей блистательной военной карьеры, сдастся немцам, а еще через очень короткое время многотысячная армия перестанет вообще существовать. И это несмотря на то, что командование в попытке выволочь армию из окружения не жалело людей.

Участок фронта на направлении главного удара в треугольнике поселений Мясной Бор – Лесопункт – Мостки, где перемычка была наиболее тонкая и где полегло не считанное число солдат, получил впоследствии наименование «Долина смерти».

Не успел, однако, Ефим вплотную приступить к исполнению своих обязанностей, как поступила команда вывести батальон на публичный расстрел солдата - «самострела». Так назывались бойцы, которые умышленно наносили себе легкие ранения, чтобы попасть в госпиталь и, если повезет, впоследствии уйти домой совсем.

Вскоре просторная лесная поляна заполнилась солдатами. Затем в сопровождении конвоиров появился солдат - «самострел». Его подвели к заранее вырытой яме и поставили лицом к солдатам. Так получилось, что Ефим оказался метрах в двадцати от него и, к несчастью, был вынужден наблюдать всю эту процедуру во всех подробностях. «Самострел» оказался немолодым казаком. Вырванный из родных степей, от своей жены, многочисленных детей, своей отары овец, верблюдов, он очутился в волховских лесах и болотах, среди людей, язык и обычаи которых он плохо понимал. Ошеломленный ужасами чужой непонятной ему войны, он решился на единственный возможный, по его мнению, поступок. Как оказалось, он прострелил себе руку самым непрофессиональным образом. Положив ладонь левой руки на дуло винтовки, он пальцем правой руки нажал на спусковой крючок. В медсанбате обнаружили, кроме сквозного ранения кисти руки, обожженную горячими пороховыми газами ладонь и немедленно отправили несчастного в отдел контрразведки. Оттуда, после короткого дознания, переправили его в военный трибунал, который был в каждой дивизии. Трибунал после пятнадцатиминутного разбирательства вынес единственный, в подобных случаях приговор – расстрел.

Ефим пристально смотрел на казаха. Он стоял в разболтанных ботинках, без обмоток. Левая рука его была завернута в грязную тряпку. Правой он придерживал брюки, без ремня, в разводах от мочи и кала. Особенно поразило Ефима выражение его лица. Оно было иссини бледным, совершенно бесстрастным, как будто он и не понимал, что происходит, где он находится. Похоже, что его в контрразведке долго и сильно били. Он обводил пустым, ничего не выражающим взглядом своих темно-коричневых глаз ряды выстроившихся на поляне солдат. Затем в какой-то момент, он, очевидно, сообразил, что его жизни приходит конец, и, по-звериному завыв, придерживая рукой сползающие на колени брюки, бросился бежать. Но куда там. Конвоиры быстро схватили беглеца и вновь поставили его около свежерытой могилы.

И тут Ефима еще раз поразила физиономия казаха. Он впервые в жизни воочию увидел мертвое лицо еще живого человека, у которого только губы что-то беззвучно шептали. Через несколько минут перед солдатами предстал военюрист трибунала, приземистый полный мужчина в пенсне. Фальцетом он прокричал приговор. Вслед за этим раздалась команда:

«Желающие привести приговор в исполнение – три шага вперед!»

Тут же появилась небольшая группа очень сытых, мордастых солдат, вооруженных новенькими карабинами.

Ефим обратил внимание на то, что были на них очень опрятные гимнастерки с аккуратно подшитыми белыми подворотничками. А самое главное – обуты они были не в кирзовые сапоги, как все вокруг, а в яловые, как высший командный состав. Вскоре последовала следующая команда:

«По изменнику Родины – огонь!»

Раздавшийся залп приподнял «самострела» и швырнул его в яму.

Дальше в памяти Ефима образовался какой-то черный провал. Очнулся он только несколько позднее и заметил, что бредет вместе со своими солдатами по болотистому мелколесью в расположение батальона. Накрапывал противный мелкий дождичек, характерный для новгородской земли. Но он не обращал внимания ни на него, ни на чавкающую под ногами болотную жижу, ни на хмурые лица солдат. Он был потрясен и раздавлен всем увиденным.

В душе Ефима боролись два противоположных чувства. С одной стороны, он понимал, что казах совершил серьезное воинское преступление – нарушил присягу. Но с другой – подумал он, каково будет его жене, как отнесутся к ней, вдове, официальные власти, там, дома, в Казахстане. А дети, они ведь не в чем не виноватые станут изгоями.

И может быть, и его несчастный дед, в далеком Бердичеве, так же обреченно ждал своей гибели под дулами автомата немецких фашистов и украинских полицаев.

Подходил к концу шестой час пребывания Ефима Бравермана на фронте.

Михаил Энштейн

Я родился, вырос, учился, жил и работал в Одессе. Моя семья и все многочисленные родственники во многих поколениях жили на Молдаванке, в старых домах, в одесских двориках, где складывались своеобразные человеческие отношения, быт и язык старой Одессы. Сейчас другие люди населяют не только Молдаванку. Одесса потеряла свой дивный колорит многонационального яркого певучего портового города. Я считаю своим долгом рассказать о людях старой Одессы, о их военных и послевоенных судьбах, в которых, как в капле воды, отразилась судьба города, страны и целого народа. Может быть тогда станут понятнее причины, фактического исхода евреев Украины и России.

МАЙНЕ ХАЕС, ИХ ГЕЕ ЦУ ДИР *

Мендель Ратковский был “ломовой лошадей”. Он поднимался до рассвета, выходил во двор и долго откашливался. Затем внимательно осматривал тачку, прикованную на ночь к перилам подвала. Гремя цепью, отмыкал амбарный замок и выкатывал ее за ворота. Разминая пальцы, набрасывал на плечи кожаную шлею, впрягался в оглобли и тащил тачку к вокзалу. На привокзальной бирже выстраивалась очередь таких же «экипажей» в ожидании клиентов: крестьян, привозивших овощи на базар, мешочников всех мастей и рангов, разного торгового люда с бесконечным количеством узлов и баулов, горожан, перевозящих домашний скarb, дрова, уголь.

Он был хозяином. Имел собственный извоз, что-то среднее

*Моя прелесть, я иду к тебе.

между арбой и двуколкой, запасное колесо, приспособления для облегчения работы, жбан колёсной мази и ломовую лошадь, которой был он сам – Мендель Ратковский, пятидесяти восьми лет отроду.

До войны он работал в одной из контор гужевого транспорта и другого дела не знал. Пара лошадей, на которых он ездил, всегда была сыта, ухожена, правильно подкована, а копыта покрыты чёрным пеком. Бронзовые пряжки на сбруе ярко блестели, а соломенные шляпы с перьями на лошадиных головах придавали им бесша-башную элегантность. По-своему элегантен был и потомственный биндюжник Мендель Ратковский – широкоплечий блондин с голубыми глазами, подпоясанный красным кушаком. Он гордо восседал на облучке своего биндюга, выкрашенного в светлые тона. Особым шиком считалось умение править лошадьми на городских улицах одной рукой. Это мог себе позволить только мастер. Мендель Ратковский был таким мастером. В другой руке, лежавшей на колене, он небрежно дёржал кнутик замысловатого плетения, которым никогда не пользовался. Кнут, также как и красный кушак и яловые сапоги, смазанные касторовым маслом являлись обязательными атрибутами экипировки одесского биндюжника. Когда лошади на подъёме уставали, Мендель не стегал их кнутом, а спрыгивал с облучка, подпирал колесо вагой и подходил к лошадиным мордам. Разнуздывая их, что-то ласково говорил и угощал то хлебом, то кусочками сахара. И лошади, передохнув, усердно тащили дальше груз. Это же делал он каждое утро перед работой. Жили они дружно – Мендель, Орлик и Козявка. Если он задерживался в конторе, лошади ржали, беспокойно тычась мордами в ограждение клетки.

Когда Мендель заболел, на конюшню с очередным угощением для них приходила его жена Хая. Чувствуя её спокойную силу, лошади становились послушными, позволяли себя запрячь, и сменный возчик спокойно уезжал на работу. Хая была некрасива. Гордая и независимая, она не отвечала стандартам женской привлекательности, принятым на Молдаванке. Но от её загадочных, широко распахнутых глаз, опущенных длинными ресницами, как бы заглядывающих в душу, невозможно было оторвать взгляд. И уже не замечались ни жёсткие непослушные волосы, ни худощавая нескладная фигура, ни даже наряды, далёкие от существующей

моды. Каждый вечер она встречала мужа у ворот. А он, увидев её издалека, кричал: “Майне Хаес, их гее цу дир!”

И так продолжалось семнадцать лет, Хая была первой и единственной женщиной, которую знал и любил Мендель. Дома она помогала ему снять сапоги, вымыть ноги, массировала спину, покрытую багровыми рубцами. Это были следы плена в первую мировую войну. Австрийский офицер обходил пленных российских солдат, отбирал евреев и приказывал избивать их шомполами.

То ли это была инструкция, то ли просто прихоть антисемита, никто не знал. Потерявшего сознание оттаскивали к своим и, если ему удавалось выжить, о нём забывали, если же он умирал, приказывали хоронить с музыкой.

Массируя спину, Хая что то ласково шептала мужу, и они счастливо улыбались. Их дом был полон гостей. Они приходили вечерами посплетничать, обменяться дворовыми новостями, поиграть в лото.

Всем было тепло и уютно в доме, где росли два сына – старший Даниил, ученик ремесленного училища, и младший Лёнька – школьник, недавно вступивший в комсомол.

Началась вторая мировая война. С первых же дней Мендель был мобилизован в трудармию и отправлен на восток. Сразу после оккупации города по доносу был арестован Лёнька. Его долго пытали, требуя выдать подпольную комсомольскую организацию, о которой он ничего не знал.

В начале зимы его, обнажённого, вывели на мороз и обливали водой до тех пор, пока он не превратился в ледяной столб. До пятнадцати лет он не дожил трёх месяцев.

Даниил был сожжён в Сабанских казармах вместе с тысячами других евреев.

Хаю расстреляли в районе Доманёвки. Она была спокойна, словно не замечала обезумевших от страха людей, не слышала стонов умирающих и раздававшихся вокруг выстрелов. Выпрямившись, не стесняясь наготы, она презрительно смотрела в глаза фашисту. Бормоча проклятия, бандит показал рукой в сторону. Пытаясь понять значение его жеста, Хая повернула голову, только тогда он нажал на спусковой крючок.

После войны, узнав о гибели семьи, Мендель постарел лет на двадцать, стал молчаливым, угрюмым и никогда не улыбался. В свой

дом он не вернулся. Каким-то образом купил тачку и стал зарабатывать на хлеб извозом. Еда, одежда, погода мало интересовали его. Зимой он не замечал позёмки, гнавшей по улицам языки снега вперемешку с листьями, хороводившими у его солдатских ботинок. Летом – ливней, хлеставших по непокрытой голове, заползавших за воротник. Обычно он сидел в одной и той же позе, низко опустив голову и плотно сжав губы. Изредка ему вспоминался голос отца, очень нежно говоривший что-то матери. Даже не сам голос, а чувства, переполнявшие его детское сердце. Чувство гордости и любви к родителям, подарившим ему жизнь. Нежности не были приняты в той среде, где он рос. Его окружали суровые люди, тяжело трудившиеся и не вылезавшие из бедности. Менделя угнетала и мучила мысль о гибели жены и детей. Будто судьбу его семьи не разделили десятки тысяч других семей, погибших в этом городе. В своём горестном эгоизме он не воспринимал рассказы других таких же несчастных, и только раздражался. Мендель не мог примериться со своим горем и потому жил, как бы в двух измерениях. В одном – каждодневная работа до изнеможения, до седьмого пота, которую он выполнял с равнодушной, отрешённостью. В другом – он жил как бы в своей семье: уходил на работу, возвращался и Хая, как всегда, массирует ему спину.

Когда гружёная тачка выкатывалась на трамвайную колею и затихал грохот колёс, клиенты слышали его бормотание. Он с кем-то беседовал.

* * *

Был солнечный весенний день. В высоком голубом небе наперегонки неслись лёгкие облака.

Аромат сирени окутывал город, а тюльпаны причудливой многоцветной лентой опоясывали привокзальную площадь. Мендель лежал на своей тачке, его лица не коснулись весенние краски, а поблекшие глаза, как обычно, смотрели, в одну точку. Вдруг он расправил плечи, будто сбросил тяжёлый груз, глубоко вздохнул и улыбнулся. Лицо его помолодело, стало счастливым, словно встретил он наконец-то человека, которого ждал и любил всю жизнь. Он пытался что-то сказать, но не смог. Стекленеющие глаза становились синими и глубокими, как было синим и

глубоким небо, опрокинутое над ним. Никто не слышал как ясно и отчётливо он прошептал: “Майне хаес, их гее цу дир!”...

Пожилой врач скорой помощи, взглянув на его лицо, сказал: “Он умер счастливым, а это не каждому дано”.

ГРУСТНЫЙ ОТПУСК

Пинхус Шломо Карцер, тщательно скрывавший содержание своей пятой графы, называл себя попросту Петей. Он был матерщинником, дебоширом и никогда не “просыхал”. Его послевоенная специальность – перепродажа краденных досок.

Колоритная личность бывшего десантника, а ныне жулика и скандалиста, была горем взрослых и гордостью мальчишек нашего двора.

Он был низкорослым кривоногим крепышом, напоминал куст саксаула. Прищур левого глаза всегда выражал высшую степень презрения к окружающим, особенно к семье врачей, балкон которых находился над подвалом, в котором жила семья Карцеров. Деньги, вырученные от своих неправедных дел, дядя Петя в основном тратил на выпивку, бесконечные прожекты, заканчивающиеся отсидками, и на сладости для дворовой ребятни.

Жена его, тётя Дора, за худобу и вытянутость прозванная “мадам Чухонь”, была выше мужа на целую голову и обладала трубным голосом. Промышляла она на знаменитом Привозе, специализируясь на получении сдачи за неоплаченные покупки. Как правило, это была домашняя птица, продававшаяся прямо с подвод. Весь ход её мошенничества был заранее тщательно отрепетирован и разбит на чётко выверенные мизансцены. В них были заняты, как в настоящем театре, канонические ампула – актрисы первого и второго планов и непременная массовка.

Принаряженная мадам Чухонь – “актриса” первого плана, подходила к подводе с птицей и неспешно прилюдно доставала из кошелька крупную денежную купюру. Затем, взяв в руки гуся, долго рассматривала его: нюхала, щупала и начинала торговаться. После этого она клала его на место, одновременно демонстрируя хозяйке и очереди денежную купюру. Здесь подавала реплику “актриса”

второго плана. Ей, оказывается, приглянулся тот же гусь. Начинаясь перепалка. Спорящие апеллировали к хозяйке, очереди, Господу Богу, черту, дьяволу. Несчастливого гуся пытались разорвать на части, осыпая друг друга бранью и угрозами.

Время шло, очередь – “массовка”, требовала прекратить безобразие и не задерживать людей. Продавщица, успокаивая очередь, на мгновение отвлекалась от “солидной” покупательницы. В ту же секунду мадам Чухонь виртуозно прятала денежную купюру в недрах своей одежды, не выпуская гуся из рук. “Актриса” второго плана уже не претендовала на этого гуся, конечно же, чтобы не задерживать очередь. “Массовка” требовала освободить место у подводы, на что тетя Дора громко заявляла, что как только получит сдачу, так сразу же и уйдет.

Облапошенная хозяйка гуся растерянно утверждала, что денег она не получала. Весь “актерский” состав начинал возмущаться, и в первую очередь претендентка на этого же гуся. Она заявляла: “Хотя эту хамку я в гробу видела, но справедливости ради должна подтвердить, что эта стерва “таки да” заплатила”.

Продавщица, махнув рукой, давала сдачу и тетя Дора, подхватив деньги и птицу мгновенно исчезала в базарной толчее. Спектакль заканчивался и очередь рассеивалась. Но не всегда все проходило так успешно, и тогда тетя Дора возвращалась домой в синяках и разорванном платье.

Воспоминания послевоенного детства я перелистываю, сидя на балконе своей бывшей квартиры. Через много лет я приехал в отпуск в Одессу. В этом городе я родился, учился, влюблялся. Я знаю здесь каждую улицу, каждый переулок и почти каждый дом. Я знаю все пляжи, все бухточки, все скалы от Лонжерона до шестнадцатой станции Большого фонтана.

Я дотрагиваюсь до виноградной лозы, прихотливо обвившей балконную решетку, оглядываю наш старый двор и воспоминания снова одолевают меня.

Я увидел себя среди мальчишек, носившихся по крышам чердакам и подвалам. Мы играли в войну. А во что же еще играли тогда мальчишки? Я увидел старых соседей, которые постоянно спорили, дрались, мирились и помогали друг другу в беде. Память возвратила меня в то время, когда Дядя Петя был центром, вокруг которого вертелась дворовая жизнь. Когда в распахнутые ворота

врывался старенький грузовичок, груженный ворованными досками, с орудийным грохотом сбрасывал их на землю и тут же исчезал. Испуганные соседи выскакивали на балконы, высывались в окна – ведь недавно закончилась война.

Доски, к радости мальчишек и проклятиям взрослых, баррикадировали двор и пересечь его можно было лишь обладая сноровкой акробата.

Особенно возмущался сапожник Антон, доски закрывали доступ его редким клиентам. Сапожник боялся дядю Петю и поэтому кричал на свою жену, нещадно коверкая русский язык. Пожилому молдаванину грамматика не давалась. Вездесущие мальчишки, паясничая и кривляясь, передразнивали его. Схватив сапожный молоток, Антон гонялся за ними, забыв о досках, клиентах и жене. Проданные доски вывозились со двора, а дядя Петя на радостях спускался к себе в подвал и принимал очередную порцию горячительного. Затем снова выходил во двор, осторожно ступая кривыми ногами.

Хорошо помню такую сцену: став в наполеоновскую позу, дядя Петя долгое время молчал. В нем совершалась очень трудная работа. Он созревал, готовясь поговорить “за жизнь”. Двор затих, ожидая представления. Только семья врачей быстро покидала свой злопо-лучный балкон, не желая быть объектом Петиного внимания. Однако это не помогало. Петя как всегда начинал монолог с обращения к ним. Прежде всего он высказывал сомнение в подлинности их медицинского образования, отмечая, что дипломы можно и купить. Затем долго вспоминал их мать, а также родственников до пятого колена.

Далее дядя Петя утверждал, что единственная цель жизни докторской семьи, каждодневно моющей свой балкон, – заливать его подвал, увеличивая и без того многочисленные полчища мокриц.

Устав, Петя заканчивал монолог самым мягким словом из своего непарламентского лексикона, обозвав врачей потаскухами. На что шестилетняя Катя с третьего этажа потребовала от своих родителей объяснить, что означает это красивое слово. Отец Катя – кочегар парохода, взмокнув как во время “собачьей вахты” многозначительно посмотрел на жену, что то невнятно объяснил ребенку.

На призыв кочегара с третьего этажа, боявшегося вопросов шестилетней дочери по поводу лексики дяди Пети, “кончать выражаться”, он на секунду умолкал, словно наткнулся на препятствие. Удивленно глядел вверх и, набрав в легкие побольше воздуха, переходил на визг. Обозвав кочегара “шмаркачем”, требовал, чтобы он закрыл свое “поддувало”, а затем добавлял, что когда кочегарова жена “трусит бебехи”, клопы “сыпятся” вниз целыми жменями. Двор хохотал.

И еще долго бы длилась словесная баталия, но появлялся дядя Соломон – бывший моряк, человек недюжинной силы, единственный, кого уважал и боялся дядя Петя. Он железной хваткой брал скандалиста поперёк туловища и относил его в подвал, откуда ещё долго доносились всхлипывания и жалобы на судьбу, детей, жену, войну, унесшую его родных, на соседей, назло ему моющих балкон, и на другие тяготы жизни.

И тем не менее дядю Петю жалели за доброту, неустроенность, как человека прошедшего ужасную войну, потерявшего на ней что то такое без чего он не мог приспособиться к мирной жизни.

* * *

Сколько лет прошло со времени тех событий... И вот сейчас, сидя на своём бывшем балконе, я вспоминаю о судьбах своих соседей.

Дядя Петя подался в Сибирь на заработки и там сгинул. Тётя Дора закончила жизнь в психиатрической лечебнице. Дядя Соломон был осуждён на 15 лет как враг народа и погиб в лагере.

Антон, облив пивом портрет лучшего друга всех советских сапожников, был обвинён в заговоре против советской власти. Остальных судьбы разбросали по разным городам, странам и континентам.

Изредка они приезжают, чтобы поклониться своей родине, своему дому, могилам родных. Сердца их наполняются горечью за судьбу своего города, в котором все меньше и меньше остается коренных жителей. Он теряет свою неповторимость, привлекательность, юмор, жизненный уклад, замешанный на еврейско-украинских, французских и греко-итальянских обычаях.

Отпуск оканчивается. Каждый день я хожу на разные пляжи, отдаляясь все дальше и дальше от Лонжерона.

Какое море у одесских берегов..! Солнечное, бархатистое, улыбочливое. Даже когда оно волнуется, хмурится, бьётся о берег, всё равно ощущается его южная нежность, его удивительный аромат, в котором зной разогретых солнцем скал, йодистый настой морских водорослей, озоновая свежесть солёных брызг и терпкость виноградных гроздьев, зреющих на окрестных полях.

Прощальный визит к морю особенно грустен. Я сидел у берега, смотрел и смотрел на эту завораживающую синь. Солнце заходило. Паруса яхт, то розовели, то фиолетово синели, когда яхты меняли курс. Суда уходили за горизонт и таяли в голубой дымке. В прощальных гудках слышалась грусть, словно они чего то недоговорив уходят в никуда. Я слушал мерный рокот волн, шуршание гальки, тревожные крики чаек. Они планировали на линию прибой и, коснувшись его шипящей кромки круто взмывали вверх.

Море успокаивалось, прекращая свою бесконечную тяжбу с берегом, и лишь со стороны скал доносились его редкие вздохи. Наконец оно замерло, словно ожидая кого то. Море ждало утра и своего властелина – солнца.

И вот, уже первые лучи, нежно коснулись его глади, берега, верхушек деревьев, окаймляющих пляж. Все ожило, преобразилось, тени становились короче, засуетились чайки. Море проснулось и снова заговорило о своей вечной претензии к берегу.

Мне вдруг подумалось, что многим моим землякам, по разным причинам не выпало счастья, хоть один раз встретить вечернюю и утреннюю зарю у столь любимого ими моря.

А между тем, раскалённый “там-там” вынырнул из воды, оглядел свои владения и двинулся к зениту. День начался.

* * *

Самолёт плавно отрывается от взлётной полосы, круто забирает вверх и делает прощальный круг над морем, затем так же плавно заваливается на правое крыло и берет курс на Запад.

Печально, когда Родина твоя – Одесса, а дом твой – Берлин...

РАЗОРВАННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Жидовская Морда лежала на своем обычном месте слева от двери. Молдаван, расположившись на продранном кресле, не спускал с неё влюблённых глаз. Пользуясь отсутствием квартирной хозяйки хотел приблизиться, но встретил предупреждающий взгляд не сулящий ничего хорошего.

Будучи много старше темноглазого красавца она не любила его, оставаясь холодной к проявлениям его бурной страсти и не принимала ни ухаживаний, ни еды, которую он постоянно приносил.

Жидовская Морда любила хозяйку квартиры безответной, необъяснимой, жертвенной любовью и готова была отдать за неё жизнь, получая в ответ лишь пинки и зуботычины.

Каждый вечер хозяйка зазывала Молдавана к себе, угощала его, оглаживала, шептала самые нежные слова, на которые способна старая любящая женщина. Он был последней, а возможно единственной любовью в её жизни.

Молдаван же только позволял любить себя и с отвращением переносил её ласки. Съев угощение, ворчал, вырывался из её рук и возвращался в комнату, где лежала Жидовская Морда, изнаывающая от любви к хозяйке и жестоко ревновавшая её к Молдавану.

Она лежала на подстилке, закрыв глаза и думала о том, как несправедливо устроена жизнь.

“Я люблю хозяйку, – продолжала она думать, – хозяйка любит Молдавана, а он любит меня. Какой ужасный неразрывный треугольник начертала судьба”. Её сердце сжималось от тоски и жалости к себе, и от того, что этот треугольник скорее походил на замкнутый круг по которому текла жизнь в этой квартире.

Хозяйка квартиры, баба Нея, была наследственной, биологической антисемиткой и непререкаемым авторитетом, по еврейскому вопросу, среди своих товарок. По вечерам у ворот, сидя на маленьких скамеечках, как куры на насестах, соседские старухи молча слушали сентенции доморощенного оракула и только многозначительно кивали головами, когда она изрекала знакомую им фразу: “Под корень их усех, под корень”. При этом единственные два зуба, уродливо выпирающие из брызжущего слюной рта, образовывали с загнутым вверх подбородком разорванный

овал, напоминающий клюв отвратительной птицы из фильма ужасов.

Она не знала, за что ненавидит евреев, но кое-какие мысли, на этот счёт, имела. Сидя на скамейке в сквере, недалеко от дома, она всё думала и думала вслух, раскачиваясь и скрежеща остатками зубов: “Почему жидам всегда хорошо? Плохо здесь теперь, пенсий не хватает, врачи платные. А они хрен положили, бросили нас и тикать кто куда. А там сразу становятся миллионерами. Дураки мы, работали на них, учили, квартиры давали. Хорошо моих жидовичей поубивали, а то бы и сейчас жила в коммуналке”. Сама баба Неля, за свою долгую жизнь, проработала два месяца медсестрой в доме малютки, но была изгнана за воровство и издевательства над детьми. “Плохо постарался Гитлер, – продолжала думать баба Неля, – плохо. Под корень их усех нужно было, под корень. А ещё говорят немцы красиво работают. Какая же это работа, вон их сколько осталось? Опять же Сталин. Банабак, он и есть банабак. Только хотел их усех под корень, чисто усех, взял да умер”.

Предаваясь волнующим её мыслям, она пыталась вспомнить скольких же евреев выловила её покойная мать, когда во время оккупации одевала солдатскую форму своего сожителя – румынского солдата, – и вместе с ним на мотоцикле выезжала на улицы города охотиться на евреев, на тех несчастных, которым удавалось ускользнуть во время облав. Прекрасив волосы, сменив одежду, сбрив усы или наклеив бороды, они прятались у знакомых, в разрушенных домах, в подворотнях, в катакомбах, пытались выжить. Вот здесь-то и был простор для её самоутверждения. Она не была на службе, она получала удовольствие.

Распознав знакомых, выпрыгивала из мотоциклетной коляски, хватала свисток, висящий на шее, и сзывала патрулей. Вцепившись в свою жертву, произносила лишь одно слово подбегавшим солдатам: “жидан”, и ехала дальше.

“Мало выловила старая, мало”, – сбилась со счёта баба Неля. А старой тогда ещё и тридцати не было. “А как хорошо было бы усех их под корень, усех”, – как заклинание повторяла она.

Она бы ещё долго предавалась воспоминаниям, но вдруг почувствовала резкую боль в левой части груди и под лопаткой. Левая рука быстро немела и тяжёлый липкий туман заволакивал сознание. Она судорожно хватала воздух широко открытым ртом,

но дышать не могла. Правой рукой пыталась достать таблетки из своей необъятной сумки, но рука уже ей не повиновалась. Повалившись на скамью, она поняла, что умирает.

Бог вспомнил свои обязанности – баба Неля скончалась. В последние минуты она думала только о Молдавине и его судьбе.

Новые хозяева выгнали Жидовскую Морду и Молдвана на улицу. Бездомные, они стали жить в подвале, но голод гнал их на улицу в поисках еды.

Однажды Молдаван исчез, но к вечеру вернулся и притащил кость от копчёного мяса. Она с жадностью набросилась на нее, но неожиданно получила пинок ногой, отбросивший её на несколько метров. “Будете мне здесь мухоту разводить”, – прошипела дворничиха и, подхватив, выпавшую кость лопатой швырнула её в мусорник. Молдаван бросился на дворничиху, но тоже получил удар сапогом в живот.

Рано утром, едва придя в себя от побоев, Молдаван и Жидовская Морда выскочили за ворота и побежали к базару искать своё собачье счастье.

Давид ЯНОВСКИЙ

РОЖДЕНИЕ СТИХА

Не мысль, не фраза, не строка,
Полунамёк на мысль и фразу
Меня касается слегка
И вдруг пронизывает сразу.

И это всё. Конец покою.
Краеугольный камень есть.
Пока не будет стих построен,
Я не смогу ни пить, ни есть.

Клочки разорванных созвучий
Меня терзают день и ночь.
Они меня пьянят и мучат
И властно просят им помочь.

Я тугодум. Порой недели
Пройдут, покуда я добьюсь,
Чтоб стройно все слова запели,
И лишь тогда угомонюсь.

ДЕТСТВО

Как рано в наши дни ложится
Познания горького печать
На детские смешные лица,
Как рано старит их печаль!

Исчезло детство. Ясли, садик,
А после школа. Детства нет.
Летит неумолимый всадник
По плитам беспросветных лет.

Мы вырастаем, и по книгам,
По отзвукам былых времён
С трудом слагаем миг за мигом
О светлом детстве лживый сон.

И тень непрожитого детства
За нами ходит без конца,
Как недошедшее наследство
Всё промотавшего отца.

* * *

Неспешно мелют Божьи жернова
Зерно судьбы в муку земной мороки.
Но предсказаний вещие слова
Читают лишь гадалки и пророки.

Неужто предрешён событий ход,
Незыблемы сценарий, режиссура?
За нитки дёргает незримый кукловод,
Покорно пляшут дураки и дуры.

Нам кажется, что мы живём всерьёз,
Нелепые, смешные автоматы,
Но может быть и смех, и горечь слёз
Заложены в программе дурноватой.

Быть может, я не сам стихи слагаю,
А текст чужой, как попка, повторяю.

* * *

Холодает...Лето на исходе.
Пожелтели листья тополей.
Облака задумчивые бродят
Над печалью скошенных полей.

Вдоль шоссе мелькает монотонно
Всё разнообразие деревьев:
Ивы, тополя, берёзы, клёны
Мчатся мне навстречу, одурев.

Набегают серая дорога,
Под колёса жадные спеша...
Близость неизбежного порога
С лёгкой грустью чувствует душа.

ГОЛОС

Быть верным самому себе –
Как это трудно и тревожно:
В любви, в несчастье и в борьбе
Себе быть верным непреложно.

Себе не льстить, себе не лгать,
Перед собой не лицемерить.
Шальной удаче цену знать,
В себя неистребимо верить.

Не ожидать чужих похвал,
Чужие отвергать упрёки,
Лишь то, что голос приказал
Вершить в назначенные сроки.

Чтоб твёрдо знать на склоне дней:
Я верен был судьбе своей!

* * *

Сиянье юности сойдёт, как позолота,
И обнажится истинная стать.
Кто отроду – лягушка из болота,
Той никогда царевною не стать.

Со временем железо проржавеет
И ярь-медянка медь позеленит.
Но золото веки не тускнеет
И серебро чёрное блестит.

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Я вышел под весенний дождь
И запрокинул голову.
“Зачем шумишь? О чём поёшь?” –
Спросил его весёлого.

А он в ответ давай мне лить
На лоб, в глаза и уши.
Он очень любит говорить
И не умеет слушать.

Ловлю я капельки дождя
Губами и ладонями,
А все, ругаясь и шутя,
Бегут, шурша болоньями.

СТИХИ О ЕВРЕЙСКОМ ПАСПОРТЕ

(пародия)

Я волком бы
выгрыз
антисемитизм,
Но в нашей стране
его нету.
Не веришь –
к любому киоску
катись
И читай
любую газету.
По длинному фронту
дверей
и таблиц
Медленно
очередь
движется:
Дюжина
ищущих работу
лиц
С паспортами
и трудовыми
книжницами.
К одним паспортам –
улыбка у рта,
Другие –
берут
лишь в виде нагрузки.
С почтением
берут, например,
паспорта
С национальностью
“русский”.
Глазами
доброто дядьку выев,

Не переставая
 кланяться,
Берут,
 как будто берут чаевые
Паспорт
 украинца.
В чувашский –
 глядят,
 как в афишу коза,
В чувашский –
 выпяливают глаза,
В тупой
 бюрократией слоновости –
Откуда, мол,
 и что это за
Этнографические новости.
И не повернув
 головы кочан,
Сонные глазки
 спрятав,
Нехотя
 берут
 паспорта армян
И разных
 других
 “азиятов”.
И вдруг,
 как будто
 ожогом
 рот
Скривило гражданину.
Это
 товарищ начальник
 берёт
Мою еврейскую паспортину.
Берёт – как бомбу,
 берёт –
 как ежа,

Как бритву
 обоюдоострую,
Берёт,
 как гремячую
 в 20 жал
Змею двухметроворостую.
Моргнул
 понимающе
 глаз Абрама:
Видно и здесь
 не работать нам.
“Сам” вопросительно
 смотрит на зама,
На начальника –
 зам.
С каким торжеством
 черносотенной кастой
Я был бы
 исхлёстан и распят
За то,
 что в руках у меня
 молоткастый,
Серпастый, советский
 еврейский паспорт.
Но так как закон
 запретил погромы,
То с самой
 вежливой нотой
Мне
 сообщают
 с ехидством
 огромным:
“Нет
 работы!”
Я волком бы
 выгрыз
 антисемитизм,
Но в нашей стране

его нету!
Не веришь –
к любому киоску
катись
И читай
любую газету!

* * *

Лишь прошлое – наше. Грядущее – тень.
Действительность – призрачный миг перехода.
Создание прошлого изо дня в день –
Цель жизни личности и народа.

* * *

“Сейчас и здесь!” – другого не дано.
Зачем грустить о том, что кончилось давно?
Зачем мечтать о днях, которые придут? –
Напрасный труд ума, души напрасный труд.

* * *

Как настоящее мгновенно и ничтожно!
А прошлое исправить невозможно.
Лишь в будущем найдут дурак и гений
Безбрежный мир надежд,
возможностей, свершений.

“ НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ ”

Пускай беснуется ОМОН.
Лишая нищий люд ночлега,
Играй на скрипке, Соломон,
В круженьи голубого снега!

Дрожит под танками земля,
И рушится весь быт убогий:
С далёких звёзд ждут корабля
Те, кто утратил веру в Бога.

Не шлёт спасенья Орион,
И не слетает ангел с неба:
Играй, играй же, Соломон!
Им музыка нужнее хлеба.

Двусмысленный апофеоз,
Достойнейший из всех резонных:
Уносит в небо паровоз
Униженных и оскорблённых.

Вопит надрывно мегафон,
Колотят по щитам дубинки.
Справляет мудрый Соломон
По собственной судьбе поминки.

Обетованной нет земли:
Красивых – много, нет желанных.
Покой бедняги обрели
Лишь в небесах обетованных.

* * *

Начало осени. Хоть листья пожелтели,
Не падают они с натруженных ветвей.
В ненастный день люблю понежиться в постели
Под мерный топот медленных дождей.

Потом подняться, выпить с хлебом чая,
Перелистать давно забытый том,
Послушать Баха, посмотреть в окно, скучая,
И снова завалиться спать потом.

* * *

Идут дожди без перерыва,
Вовсю разверзлись небеса.
Не ждёт их скошенная нива,
Не ждут их голые леса:

Давно отмыт асфальт до блеска,
И с крыш покатых смыта грязь,
Но льёт и льёт за занавеской,
И люди мокнут, матерясь.

Унылый стук постылых капель
Наводит скуку, сон, покой...
Я б от тоски, наверно, запил,
Да, жаль, привычки нет такой.

* * *

В жёлтый цвет измены и разлуки
Осень перекрасила деревья,
Тянутся их высохшие руки
К птицам, улетающим в кочевье.

Грустный крик печальных караванов
Тонок и тягуч, как бабье лето.
Матовыми шторами туманов
Наглухо задёрнуты рассветы.

Скоро грянут зимние метели,
Скоро станет всё белым-бело.
Не напрасно птицы улетели
В те края, где тихо и тепло.

Ветру и дождю привычно внемлю.
В окна хлещет мокрый жёлтый шквал...
Я люблю шальную эту землю,
Потому что лучшей не видал.

* * *

Зачем так неистово бьётся
Сердце в счастье и в муках?
Ну что после нас остаётся,
Кроме детей и внуков?

Слава – случайная птица?
Памяти паутинка?
Вещей безучастные лица?..
Застряла под сердцем льдинка.

ЖИЗНЬ

Да, жизнь прожить – не поле перейти,
Но все мы переходим это поле.
Порою падаем, сбиваемся с пути
И плачем от обиды и от боли.

А жизнь сложнее Гильберта проблем,
А жизнь проста, как “Дважды два – четыре”.
Среди учений, директив и схем
Мы мечемся в безумном этом мире.

В бесцельной сутолоке дьявольского красса
Кричим о правде, прячемся за ложь
И пуще каторги боимся мы вопроса:
“Зачем живёшь?”

* * *

Пора дождей унылых и туманов,
Настала осень. Поздние цветы
Под кронами желтеющих каштанов
Исполнены предсмертной красоты.

На дальний юг откочевали птицы,
Страшась суровых северных ветров,

Лишь воробьи да шустрые синицы
Беспечно скачут в золоте садов.

Хоть чёрный ворон каркает сердито,
Пороча снег, метели и мороз,
Но воздух чист, и солнцем даль залита,
И в сердце радость беспечальных слёз.

* * *

...А я ведь мог и не родиться,
Не видеть солнца и луны,
Не услышать ни пенья птицы,
Ни шороха морской волны.

Не пить прохладу из колодца...
Да что там! – Мог тебя не знать!
Нет, мой язык не повернётся
Несчастной жизнь свою назвать.

Всё остальное – жалкий лепет,
Всё остальное – прах и тлен,
Когда я ощущаю трепет
Твоих пленительных колен.

Пусть только будет небо ясным,
Пусть будет чистою вода,
Пусть только будет солнце красным
И ты со мною будь всегда.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Иосиф МАЛКИЕЛЬ	Вместо предисловия	3
Карл АБРАГАМ	Эвакуация. Глава из воспоминаний «Два часа и вся жизнь»	10
Леонид БЕРДИЧЕВСКИЙ	Настырный. <i>Стихи</i>	19
Марлен ГЛИНКИН	Старая пластинка	31
Петр ЗАМАНСКИЙ	Бабий яр. Ретроспективная поэма	36
Леонид КАЦ	<i>Стихи</i>	43
Яна КУТИН	Крести. <i>Стихи</i>	46
Семен ЛУРЬЕ	<i>Стихи</i>	59
Генриетта ЛЯХОВИЦКАЯ	Этюды. Рассказ. <i>Стихи</i>	63
Дмитрий ЛЯХОВИЦКИЙ	<i>Стихи (перевод)</i>	74
Анна ОСМОЛОВСКАЯ	«Петруша». Из книжки для детей	75
Анжелла ПОДОЛЬСКАЯ	Яврей. Моя улица. <i>Стихи</i>	83
Дмитрий РУБЛЕВ	<i>Стихи</i>	99
Альфред ХОДОРКОВСКИЙ	Рассказы. <i>Стихи (переводы)</i>	103
Борис ЧЕРЕПАШИНЕЦ	Рассказы	117
Михаил ЭНЕНШТЕЙН	Рассказы	129
Давид ЯНОВСКИЙ	<i>Стихи</i>	141

**В ЭТОМ
НОМЕРЕ:**

Карл АБРАГАМ

Леонид БЕРДИЧЕВСКИЙ

Марлен ГЛИНКИН

Петр ЗАМАНСКИЙ

Леонид КАЦ

Яна КУТИН

Семен ЛУРЬЕ

Генриетта ЛЯХОВИЦКАЯ

Дмитрий ЛЯХОВИЦКИЙ

Иосиф МАЛКИЕЛЬ

Анна ОСМОЛОВСКАЯ

Анжелла ПОДОЛЬСКАЯ

Дмитрий РУБЛЕВ

Альфред ХОДОРКОВСКИЙ

Борис ЧЕРЕПАШИНЕЦ

Михаил ЭНЕНШТЕЙН

Давид ЯНОВСКИЙ